

В. Л. ЦЫМБУРСКИЙ

ЛАТИНСКИЙ ТРИЛИСТНИК: 1. Причина и чудо : индоевропейские связи лат. *causa*.

2. Форма и дхарма. 3. Дело о Пренестинской фибуле.¹

1. «Причина» и «чудо» : индоевропейские связи лат. *causa*.

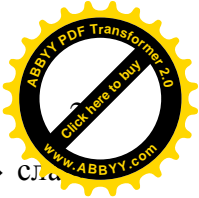
Предмет этой статьи – замечательный этимологический параллелизм, обнаруживаемый между словом для «причины» в латыни и обозначениями «чуда» в двух других индоевропейских языках – греческом и общеславянском.

Слово *causa*, обычно выражающее в латыни понятие «причины» - неотъемлемый элемент философского, юридического, исторического дискурсов римской классики, - принадлежит к этимологически неразъясненным элементам латинского словаря. Старое его звучание *caussa* известно по некоторым надписям, спискам Плавта, а также по сообщениям грамматиков Квинтилиана (I, 7, 20) и Мариа Викторина (VI, 8, 5) [ThLL 1906-1912:659]. Оно обнаруживает основу с -s- или -t- в суффиксе и с предшествующим этому суффиксу дентальным в исходе – по-видимому, расширенного – корня, так что праформа условно выглядит как : *cauT-s-a или *cauT-t-a, где T – любой дентальный. В остальном слово непрозрачно. Произвольными выглядят и странное сближение его в словаре Вальде-Гофманна с *cudo* «бью» (“Schlag als Ursache”) [Walde-Hofmann 1938:190] и попытка еще в XIX в. А.Ваничека, сопоставляя *cau(s)sa* с *saveo* «остерегаюсь чего-либо, беспокоюсь о чем-либо», приписать нашему слову исходный смысл «нечто защищаемое, пребывающее под охраной» [Vaniček 1874:187].(В XX в. Ж.Дюмезиль семантически «колдовал» над созвучием *causa* «судебное дело» с *cautus* «осторожный» и формулой приговора *male caverunt* [Dumézil 1987:56-57]). В полной безнадежности словарь Эрнун-Мейе нас уверяет, что у *cau(s)sa* не только «этимология неизвестна», но даже и «первичный смысл не поддается определению» - и полагает в этом слове «прелатинский термин» без каких-либо соображений насчет возможностей его генезиса [Ernout-Meillet 1979:108].

В этой заметке я попытаюсь показать, что, сближая *causa* и *saveo*, Ваничек, пожалуй, вступил на верный путь. Другое дело, что его гипотезу дискредитировала недостоверность предполагавшейся им внутренней формы *causa*, не подтвержденной латинским словоупотреблением, да к тому же не считающейся и с этимологическим смыслом *saveo*, - каким этот смысл предстает из индоевропейских параллелей.

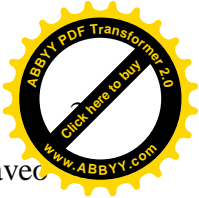
Известно, что *saveo* фонетически так же соотносится с греч. κοέω «внимаю», как *raveo* «дрожу от страха» с πτοέω «пугаю», как *lavo*, -ere (вариант *lavare*) «мою» с λούω то же, или как лат. *cavus* «пустой» - с κόοι ταλάσματα της γηῆς καὶ τακοιλώματα (Hes.); можно

¹ Acta linguistica Petropolitana, IV, 1 (= Colloquia classica et indo-germanica, IV). СПб, 2008.



сравнить, наконец, лат. *faveo* «проявляю благосклонность» с арм. *govem* «хвалю» с лат. **govēti* «почитать, поститься, проявлять милость» < **g^hhoweyē-*. На протяжении XX в. этот латинский переход **-ov-> -av-* перед гласными объяснялся преимущественно при помощи гипотезы П.Кречмера и Ф. Зольмсена, предполагавших, что возник он сперва в безударных формах типа *cavēre*, *pavēre*, *lavāre*, *favēre* или *cavérna* «впадина, пустота», а позднее по аналогии распространился и на подударные позиции в словах от тех же латинских основ [Kretschmer 1904; Solmsen 1904]. При подобном объяснении, основывающемся на ударении классической латыни, в этом переходе оказывалось слишком много иррегулярных, толкуемых *ad hoc* моментов: взять такие формы, как *November* «ноябрь» от *novem* «девять», *poverca* «мачеха» при *novus* «новый» или глаголы *moveo* «двигаю», *oveo* «клянусь», *foveo* «согреваю» - все эти случаи Кречмер и Солмсен объясняли с большой натугой. В 1990-х на смену их версии была выдвинута П. Схрейвером (в книге о латинских рефлексах индоевропейских ларингалов) иная, обладающая значительно большей объяснительной силой. Она предполагает, что этимологическое **-ov-* перед гласным уже в пралатинском всегда давало *-av-*, за исключением позиции после *H₃* (*ovis* «овца» < **H₃ewi-*).² Все случаи, когда в латыни перед гласным налицо сочетание *-ov-* с этимологическим лабиальным Схрейвер рассматривает как рефлекс древнего **-ev-*: таковы *novus* < **newos*, греч. *νε(F)ός*, *novem* < **H₁newm*, греч. *ἐνε(F)α*, *ovo.-are* «восхваляю» < **H₁eu-*, греч. *εὐζω*, сюда же *moveo* довольно редкий тип каузатива с е-огласовкой, известный, однако же, по таким латинским формам, как *terreo* «пугаю», *augeo* < **H₂eug^weye-* «вращиваю, умножаю» и т.д. [Schrijver 1991: 436-454]. Концепция Схрейвера успешно справилась со множеством фактов, каковые, по сути, оставляла необъясненными гипотеза Кречмера-Зольмсена. Сейчас дискуссионными, пожалуй, остаются лишь пралатинские отражения индоевропейских **o, *e*, перед этимологическими лабиовелярными **g^w*, **g^wh* : с одной стороны, видим лат. *nūdus* «нагой», явно из **nog^wodhos* или **nog^wedhos*, без перехода корневого **o* > *a* (см. германские параллели с тем же значением – гот. *naqaPs* < *naqad-*, др.-в.-нем. *naqot*, но др.-исл. *þökkvidr*), а с другой – неясное соотношение между вокализмом лат. *foveo* «согреваю», родственного др.-инд. *dāhayati* «жжет», лит. *dègti* < **dheg^wh-* «жечь, гореть», и лат. *favilla* «горячий пепел» [Schrijver 1991 : 274-275, 442-443, 448]. Для случаев же с исконным губным сонантом объяснение Схрейвера едва ли не оптимально и, в

² Лат. *avillus* «новорожденный ягненок» Схрейвер решительно отделяет от *ovis*, возводя через синкопированную форму **ag^wŋlo-* к пралат. **H₂eg^wn-elo-*, уменьшительному от **H₂eg^wno-*, лат. *agnus* «ягненок» [Schrijver 1991:438-439], что представляло бы точную параллель к паре *tignum* «брус, балка»: *tigillum* то же < **tigŋlo-* < **tignelo-* [Нидерман 1949:43]. Лат. *bos,bovis* «бык, корова» он, вместе со многими авторами, трактует на правах позднейшего италийского заимствования в латинском.

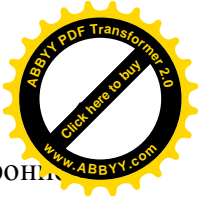


частности, благодаря ему отпадают последние неясности в сопоставлении *causae* родственными индоевропейскими формами.

Этот глагол входит в одно этимологическое гнездо с др.-инд. *ākuvate* «он намеревается», *ākuti*, *ākūtam* «замысел», *kavī* «провидец, поэт», *kavāri* «алчный»; с греч. *κοῦω* и *ακούω* «слушаю», < **ǵ-kousyō* см. также *ἀκεύει*. *τηρεῖ* «следит» (Hes.); с гот. *hausjan*, др.-в.-нем. *horren* «слушать» при др.-англ. *hāwian* «смотреть». с лтш. *kavêt* «медлить», со слав. **čuti* «чутья», также **čeviti* в др.-чешск. *uščeviti* «посещать», блр. *човиць* «бдеть». А еще далее – с греч. *θυό-σκοος* «наблюдающий за жертвами», др.-англ. *scēawian*, др.-в.-нем. *scuwōn* «смотреть», гот. *skauns*, др.-в.-нем. *scōni* «привлекающий внимание, красивый», гот. *us-skaws* «медлительный, осторожный», собственно «оглядчивый» (ср. лат. *cautus* с тем же значением и лтш. *kavêt*), арм. *սփառեմ* «показываю» < **skeu-sk'*-, *σοῦς* «зрелище, демонстрация, показ» [Pokorny 1959: 587-588; ЭССЯ 1977:99-100]. Итак, смысл «озабоченности, предосторожности», характерный для *causae* в письменную эпоху, представляет лишь малую часть широкого поля употреблений и.-е. *(s)keu- с его семантикой «фокусировки чувства, интеллекта или воли на некоем объекте», а также «способности объекта привлекать их к себе». Очень похоже на то, что многообразие употреблений слова *caus(s)a*, далеко не исчерпывающихся понятием «причины», вполне способно соотноситься с тем же самым смысловым полем.

Так, лейпцигский «Тезаурус латинского языка» одним из основных значений *causa* называет «разыскание, рассмотрение», «предмет, трактуемый при помощи слов» - «*quaestio*», «*res, quae verbis tractatur*» [ThLL 1906-1912:685]. В частности, излюбленное Цицероном и обычно не находящее адекватного отражения в переводах соединение *res* «вещь, дело, положение вещей» и *causa* в пары соположенных понятий – *res causaque*, *res ipsa causaque*, *res et causa*, *res ipsa atque causa* (например, в *Cluent.* 139,141; *Catil.*4,10; *Scaur.*16; *nat.deor.* 1,2; *de orat.*1, 259 и во многих других случаях, указываемых «Тезаурусом») – хорошо разъясняется из такого контекста, как *fat.* 9 *qua de re agatur et in quo causa consistat* «о каком предмете пошла бы речь, и в чем состояла бы проблема». Похоже, что *res*, поскольку оно дифференцируется от *causa*,³ относится к предмету или ситуации как таковым, внешним относительно их рассмотрения и обсуждения, а *causa* берет их же как уже преобразованные в тему речи, дискурса. Понятно, что отсюда происходит и юридическое применение *causa*, чуть ли не с эпохи законов XII таблиц, к

³ Во множестве случаев *res* и *causa* могут просто заменять друг друга, в том числе в обороте *quam ob rem = quam ob causam* «из-за этого дела», «по этой причине». В романских языках рефлекс *causa* (итал. *cosa*, франц. *chose*) нормально употребляются в значении латинского *res*.

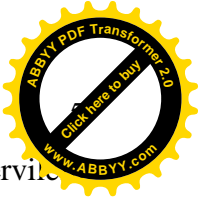


слушанию-рассмотрению дела судьями и, соответственно, к его двусторонней презентации перед судом усилиями тяжущихся: см. пересказ одного из этих древних законов в Aul.Gell. XVII,12,10 ante meridiem causam coniciunto, cum perorant ambo praesentes «пусть ставят дело (тяжбу) на рассмотрение до полудня, когда лично произносят свои заключительные слова обе стороны».⁴

Пониманию *causa* в смысле «сосредоточения интереса и заботы на ком-либо или на чем-либо» не противоречат и общеизвестные обороты, где это существительное по сути низводится до роли служебного слова вроде *eius causā* «ради него», *tua causā* «ради тебя», *populi Romani causā* «ради римского народа» - ср. русск. *имея в виду одного себя* или *действуя в видах государства*. Если в предыдущих случаях *causa* нас отсылала к дописьменной семантике *saveo* <*koweyō, восстанавливаемой по данным внешнего сравнения, то обретая целевой характер – например, в должностовательных герундивных и герундийных оборотах (типа *rei gerendae causā* «для совершения дела»), наше слово прямо смыкается с употреблением *saveo* в исторической латыни – в смысле «предусмотрительного, озабоченного старания о некоем результате»: см., например, у Энния Ann. 319 *rastros...capsit causa poliendi agri* «грабли...взял в заботе о возделывании поля», ср. др.-инд. *ākūti* «замысел, намерение, желание».

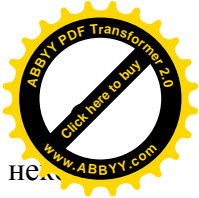
И в то же время, отталкиваясь от исходного смысла *causa* как «рассмотрения» нетрудно понять его употребление в смыслах «*conditio, forma, status*» [ThLL 1906-1912: 617] (ср. гот. *ibna-skauns* «тождественный обликом, подобный», полисемичное др.-исл. *skun*, значащее «просмотр» и «приговор», но также «порядок», арм. *օսոյ* «зрелище, показ»). Особенно понятно такое развитие бывает, когда эти «положение, форма, статус» выступают предметами словесного раскрытия и обсуждения, как бы демонстрирования: Cic.Att. 8, 11, 3 *nostra gravior est causa qui domi sumus* «тяжелее наш удел – которые пребываем дома...»; 11, 13, 1 *in eam causam venisse me videre ut...* «я вижу, что уже дошел до такого состояния, когда...» и т.п.), или умозрительного конструирования – например, в

⁴ Вполне наглядно с юридической жизнью слова соотносится *causa* у Плавта в специальном смысле «возражения», «выдвигаемого препятствия»: Mil.1427 *causam non dico* «не возражаю»; Capt.353 *num quae causa est quin...viginti minas mihi des* «разве какое-нибудь может быть возражение против того, чтобы ты...дал мне двадцать мин»; Cas.1003 *nulla causa est quin pendentem me...virgis verberes* «никакого возражения против того, чтобы ты, меня подвесив, выпорол розгами»; Rud.1070 *nulla causa est quin me condones cruci* «никакого возражения против того, чтобы ты отправил меня на крест». Эти плавтовские *causam non dico* и *nulla causa est* «не буду возражать, принимать мер предосторожности против чего-либо в том числе против наказания, которое считаю заслуженным», несомненно, обыгрывают формулу *causam dicere* «вести дело в суде», - из которой порождены слова *causidicus* «судебный защитник», *causidicatio* «адвокатура», *causidicalis* «адвокатский». Похоже, что плавтовская *causa* «возражение», составляющая особый словарный пункт в перечне смыслов этого слова, - как ни заманчиво было бы сблизить такое словоупотребление с использованием *saveo* в смысле «опасаюсь чего-либо, стараюсь что-либо предотвратить» - на самом деле возникает из игры с языком права, как следствие комического вклинивания процессуальных формул в необычные для них речевые ситуации.



ценном контексте Paul.Dig., 4,5,3,1 cum emancipari nemo posit nisi in imaginariam servitium
causam deductus «поскольку никто не может быть отпущен на свободу, если не был
приведен (прежде) в воображаемое рабское состояние».

Этот обзор нам позволяет, наконец, подойти к тому, как, собственно, causa
оказывается обозначением для «причины». При этом само понятие «причины» должно
претерпеть деконструкцию, его можно разложить на несколько различающихся частных
смыслов. Очевидно, что применительно к человеческим деяниям и намерениям causa как
«причина» или «предлог» - это слово для воспринимаемых обстоятельств, из которых
возникает то или иное волевое усмотрение, как у Плавта, Merc. 822 uxor virum si clam
domo egressa est foras, viro fit causa, exigitur matrimonium «если жена втайне от мужа ушла
из дома, есть у мужа (усматривается) причина, расторгается брак». Точно так же, когда
речь идет о претерпевании и эмоциях, causa - это внешний, чувственно воспринимаемый
коррелят («источник») переживания: Ovid.Trist. I,2,17-18 Ergo idem venti ne causa laedar in
una // Velaque nescio quo votaue nostra ferunt «и вот те же самые ветры, чтобы мне
терзаться не по одной причине (собственно, не из-за одного зримого аспекта беды – В.Ц.)
несут невесть куда и наши корабли, и наши обеты»: Arn.VII,34 quia gaudere laeta re
maestos fieri tristioribus conspiciunt causis «ибо замечают, что радуются люди при
счастливых делах, грустны же делаются, когда (зримые) обстоятельства ухудшаются
(=при печальных причинах)». И, наконец, понимаемая нами как «причина» causa, может
относиться к событию, которое с достаточной индуктивной достоверностью предшествует
другому событию. Так что в подобных случаях род гендиадиса – единой идеи из двух
соположенных словопонятий – образуют уже не res и causa, но causa и nota«примета,
признак». Например, у Цицерона De div.2,17 qui potest providere quicquam futurum esse,
quod neque causam habet ullam neque notam «кто может провидеть что-нибудь из будущего,
не имеющее ни причины никакой, ни приметы», ср. I, 126 ut...observatione notari possit
quae res quamque causam plerumque consequatur etiamsi non semper...easdemque causas veri
simile est rerum futurarum cerni ab iis qui aut per furorem eas aut in quiete videant «так как...из
наблюдений возможно заметить (notari), какое событие обычно следует за какой
причиной, хотя бы и не всегда..., то правдоподобно что те же самые причины будущего
распознаются теми, кто видит их в экстазе или в спокойном состоянии души». Показательно, что в этом смысле causa, согласно [ThLL 1906-1912:667], часто выступает
объектом при глаголах чувственного и интеллектуального восприятия – (causam,-as)
videre, providere, despicere, perspicere, conspiciere, intueri. Все говорит за то, что в качестве
термина для «объективной», в том числе «природной» причины causa могла представлять



собою ни что иное, как указание на усматриваемую примету, способную предвредить некое будущее явление (как собирающиеся в небе тучи – «причина» последующей бури).

Я думаю, что теперь мы не только можем отнести лат. *causa* во множестве его значений – «рассмотрение некоего вопроса» (в том числе «презентация и рассмотрение дела в суде»), «предмет обсуждения», «внимание к чему-либо, попечение о чем-либо», «состояние, форма, статус», «условия определенного решения и действия», «внешние обстоятельства, специфически воздействующие на душевное расположение человека», наконец, в реконструируемом смысле, «более или менее регулярная примета, предшествующая событиям некоего типа и воспринимаемая как их причина» - к рефлексам и.-е. **(s)keu-* «сосредотачиваться на каком-либо объекте». Мы в состоянии теперь указать также ближайшие формальные параллели к *causa* в иных индоевропейских языках. Восстанавливаемая по старинному варианту *caussa* формантная последовательность «дентальное расширение корня плюс суффиксальное -s-» позволяет опознать такие параллели в слав. **čudo*, род. падеж **čudese* «чудо, знамение» и в греч. *κῦβος*, -εος, известном гомеровском атрибуте героев и богов. В свое время Э.Бенвенист доказательно отверг прежнее расхожее понимание *κῦβος* как «слава», показав, что в «Илиаде» так именуется харизматическая отмеченность воина богами, выражающаяся в особой ауре вокруг него и служащая знаменем его победы. По выводу прославленного лингвиста, *κῦβος* - «магический атрибут, окруженный пророчествами и сам пророчество» [Бенвенист 1995: 277-283, особенно 282-283].

Думается, с формальной стороны *causa* следует рассматривать как результат «тематизации» древней основы на -s, аналогичной основам *čudo* и *κῦβος*. Порождение тематических основ на -so/-sā (< -seH₂) от s-основ достаточно хорошо представлено в индоевропейских языках. Оно выступает как словообразовательный прием в древнеиндийском (*rócas* «свет»: *rukṣà* «сияющий», *sàhas* «мощь»: *sakṣà* «мощный»; *ṛàjas* «бок»: *ṛakṣà* «сторона», «половина», «крыло» и т.д.), в единичных случаях проявляется в греческом (*κύτος* «выпуклость»: *κυσός* < **κυσός* «ягодицы»),⁵ а также наглядно прослеживается по межъязыковым корреляциям: греч. *έτος*, -εος «год»: *vatsà* «теленочек-первогодок», греч. *ύβος* «вода», дат. падеж. *υβει*: др.-инд. *útsa* «ручей»; др.-инд. *tamas* «тьма»: лит. *tamsà* то же; др.-инд. *çiras* «голова», вар.*çirṣàm*: греч. *κόρση* «висок, щека»,

4. Форма *βυσός* «глубокое место» может объясняться из **βυθός* [Schwyzer 1939: 321; Гиндин 1981:98], если предполагать для тематического имени *βυθός* «глубина» древний вариант с основой на -s **βύθος*, -εος, как у родственного *βάθος*, -εος с тем же значением. К сожалению, формы *βάσος* «долина, расщелина», < **βάθος*, приводимой в словаре Покорного [Pokorný 1959:465] , на самом деле, по-видимому, не существует.

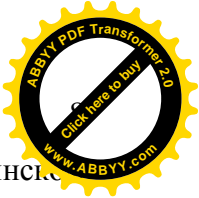


«голова», лат. *nidor* «дым, чад» <(и.-е. **kniHdōs*): греч. κνίση, κνίσσα <(и.-е. **kniHdseH₂* у_{H₂}) «дым от жертвоприношений, тук» [Barroу 1976:154; Brugmann 1889:387; Schwyzer 1939:321; Pokornу 1959:562].

Однако реконструкция для *caussa* праформы вроде **koudsā* < **koudseH₂* неизбежно наталкивается на проблему, проистекающую из необходимости объяснять аномальное развитие –ou-> -au- перед согласным, да еще в закрытом слоге. По счастью, нам здесь спешит на помощь ларингальная теория, предлагая красивый выход из этого затруднения. Долгота корневого гласного в греч. κυβος, др.-инд. *ākūtam*, *ākūti*, а также акцентуация серб.-хорв. *čūti*, *čūjem*, словен. *čūti*, *čūjem* указывают на ларингальное расширение этого корня – или на его ларингализованный характер в глазах сторонников трактовки индоевропейских ларингалов как суперсегментных величин [Дыбо 1981: 199, 204; Kortlandt 1975:69; Schrijver 1991: 439-440]. Таким образом, корень должен бы восстанавливаться в виде **keuH-*/**skeuH-*, причем, по замечанию Схрейвера, метатетический вариант **keH₁u-*, отразившийся в др.-англ. *hāwian* «смотреть» позволяет уточнить качество ларингала: это должен бы быть H₁ - ларингал, отвечающий за е-огласовку. Следовательно, для *caussa*, если выводить это слово из того же корня, надо восстанавливать в качестве праформы не **koudseH₁*, но **kouH₁dseH₂*.

Возникает вопрос: что же происходило в пралатинском с древним ларингалом (если его считать за фонему) в подобной позиции – между этимологическим –ou- и последующим согласным? Материал на этот счет крайне скуден. Однако Схрейвер, ссылаясь на лат. *caudex* «чурбан, колода», «дощечка для письма» как на имя, родственное глаголу *cudo* «бью», выводит эти формы, с допущением ранней синкопы, соответственно из **kavad-* < **kouHd-* и **kovad-* < **keuHd-*. Как видим, он постулирует здесь обычное для пралатинского развитие –ev- и –ov- перед гласным – а именно, перед тем гласным, который должен был возникнуть из вокализованного ларингала [Schrijver 1991: 285-287].⁶

⁶ Ссылаясь на тохарские факты (тох.А *kot-*, В *kaut-* «раскалывать» при тох. А *ko-*, В *kau-* «убивать», тох.В *kāwālne* «убиение»), этот ученый восстанавливает по ним корень **keH₂u-* с метатезой по отношению к обычному **keuH₂-*, стоящему за лат. *cudo* и иными индоевропейскими родственными формами, включая слав. **kovati* [Schrijver 1991:286]. К тохарской реконструкции см. [Van Windekens 1976:231-232; Бурлак 2000:243]. Ценность этого результата в том, что индоевропейские формы со значениями «фокусироваться на чем-либо» и «бить, ковать», выступающие как полные омонимы, если их расценивать как двухконсонантные структуры (**keu-* в обоих случаях), различаются в качестве структур исконно трехконсонантных (**keuH₁-* и **keuH₂-*). (Я оставляю в стороне еще одну теоретическую возможность: именно, что «метатетические» варианты Схрейвера, **keH₁u-* «смотреть» и **keH₂u-* «бить», выявленные им по показаниям древнеанглийского и тохарского языков, являются на деле старейшими по сравнению с нормальным обликом тех же трехконсонантных корней и сами в свою очередь представляют u- расширения первичных корней **keH₁-* и **keH₂-*, см. [LIV 2001:345-346; Bourns 2005:37]).



Схрейвер полагает, что между дифтонгом и согласным ларингал в пралатинском изменялся так же, как обычно между согласными – то есть давал а (ср.лат. *satus* «посеянный» <*sH₁to- при перфекте *sēvi*, *status* «поставленный» <*stH₂to-, др.-инд. *sthita* то же; греч. *στατός* «стоячий»; *datus* «данный» <*dH₃to-, др.-инд. *ditā* то же, греч. *θεόδοτος* «данный богами»), которое в середине слова могло редуцироваться в *i* (лат. *genitor* «родитель» <*g'enH₁tor, греч. *γενέτωρ*, *animus* «дух» <*H₂enH₁mo-, оск. *anamum* то же, греч. *ἀνεμος* «ветер») или подвергаться синкопе. В таком случае, и *caudex*, и *cau(s)sa* (возникшее в результате последовательности трансформаций *kouH₁dseH₂> *kovassā >*kavassā > *caussa*) могут быть отнесены к ряду латинских слов, обязанных синкопе тем дифтонгом -au-, который в них появляется на месте древнего -ou- перед гласным. Таковы, несомненно, *fautor* (с вариантом *favior*) «благодетель», и *faustus* «счастливый» (вместо **favestus* как *honestus* [Нидерман 1949:41]) от *faveo* и *cautus* «осторожный» (вместо **cavitus*) от *saveo*. Возможно, сюда же относятся такие слова, как *fraus*, -*dis* «обман» <*dhrou-Vd-, ср. др.-инд. *dhruṭi* то же, и *laus*, -*dis* «хвала» <*lou-Vd- при гот. *liuþon* «пою, хвалю», др.-в.-нем. *liod* «песнь» <*leu-t- [Schrijver 1991:439,444].

Итак, ларингальная теория позволяет мотивировать возникновение -au- в *cau(s)sa* чисто фонетически, без обращения к аналогическим домыслам, которых ранее и сам я не чуждался – вроде того, что, якобы, эта «огласовка...наиболее естественно объясняется прямым влиянием вокализма *saveo*» [Цымбурский 1999:101]. Сейчас я не вижу в них никакой надобности.

Интересно отметить, что восстанавливаемый древний прообраз *cau(s)sa* <*kouH₁dseH₂ оказывается наиболее близок даже не к прообразам греч. *куβος* <*kuH₁dos и собственно слав. **čudo* <*keuH₁dos. Но сразу же вспоминается предполагаемый вариант последнего слова – именно **kudo*, -*ese*, представленный в др.-русск. *кудесъ-ы* «чары, колдовство», русск. диал. *кудеса*, *кудесы* «чудеса посредством нечистой силы», «святочные гуляния», *кудесъ* «колдовство, ворожба», сербохорв.диал. *кӯдош* «виновник, нарушитель», польск. диал. *kudyś* «злой дух», с родственными образованиями в др.-русск. *кудь* «воля, желание, изволение», русск. диал. *куд* «злой дух», *кудь* «волхование», откуда общеславянский глагол **kuditi* «хулить, порицать» [ЭССЯ 1987 : 82-84]. Если впрямь видеть в **kudo* дублет к **čudo*, хотя бы испытанный в семантике «косвенное влияние гнезда **kovati*, относящегося не только к кузнечному мастерству, но и к колдовству» [ЭССЯ 1987:83], то пришлось бы заключить, что праформа *caus(s)a* обнаруживает наибольшее морфологическое сходжение именно с этим славянским раритетом



(<*kouH₁dos).⁷

В заключение, краткого комментария достоин контраст семантики *causa* «причина» и *κῦβος* «магическая харизма», **čudo* «чудо, знамение». Во всех этих случаях родственными словами характеризуются явления, привлекающие внимание очевидцев и тем самым способные возбуждать определенные людские ожидания. Но греческое и славянское слова относятся к феноменам, выпадающим из обычного порядка вещей и могущим обретать роль примет-знамений в силу своего общего аффектоносного воздействия. А вот лат. *causa* как «причина» - это лишь один из видов «рассмотрений» и «усмотрений», одно из многих применений слова, выражающего нацеленность сознания на артикуляцию жизненного опыта людей – артикуляцию речевую, дискурсивную (*causa* - тема обсуждения), мотивационную (*causa* - зримые обстоятельства, мотивирующие эмоцию или изволение), сигнификативную (*causa* - примета будущего события). Это тот случай, когда впопору было бы порассуждать о «духе языка» и «духе народа».

Но не менее интересна и типология «внутренних форм», вкладываемых языками в понятие «причины». Славянская *причина* нечто творит и «учиняет», устраивает. Греческая *αἰτία*, родственная «року, судьбе» (*αἶψα* «рок» <**ai̯t̥ya*) «требуется» (*αἰτεῖν*) чего-то ей причитающегося, смыкаясь с идеей «преследующей вины» (*αἰτία* как «вина» и «обвинение в суде», *αἰτιός* «виновник»). В конце концов – она восходит к образу «полагающейся кому-либо доли или штрафа, уплачиваемого за что-либо», ср. авест. *aeta* «полагающаяся часть, долг, штраф», оск. *aeteis* «partis «части». (впрочем, понимание причины как «вины» известно и славянам - вспомним, хотя бы русское ироническое «виновник торжества»). Пралатинская же причина применительно к миру, к природе вещей озабоченно *усматривалась* или *высматривалась*, а в жизни человека сама во многом проявлялась как его *усмотрение*. Через «усмотрение» и «усматриваемое»,

⁷ Соображения О.Н.Трубачева о том, что слова с корнем **čud-*, при всей своей принадлежности к сфере чудесного, наделены определенной нейтральностью значения, тогда как корень **kud-* отличается негативностью семантики из-за влияния корня-паронима **ku-/kov-*, значащего «ковать, колдовать» [ЭССЯ 1987:83] заставляют, кстати, вспомнить, латинское использование *causa* (*causa morbi*) в смысле «недуг, болезнь», ср. такие обороты, как *insanabilis atque irrevocabilis causa, causae graviores (leviores)* [ThLL 1906-1912:680-681]. Едва ли это словоупотребление *causa* (<пралат. **kavassa*) с коннотацией «опасного случая, беды», возможно – «беды, вызванной злыми силами», надо вслед за Эрну и Мейе, расценивать как кальку с греч. *αἰτία* [Ernout-Meillet 1979:108]. С другой стороны, специально выделяемое этими авторами будто бы вторично конвергировавшее с идеей болезни *causa* «увольнение из армии в военном языке», откуда *causarius* «отставник» - не могло ли первоначально нести идею «смотря – и отбраковки негодных к службе»?



«притягивающее внимание» этимологически рождаются «причина» и «чудо»

2. Форма и дхарма (Введение в тему).

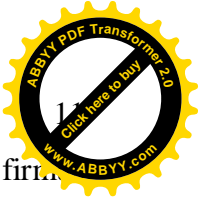
Я определяю данный этюд как «введение в тему», раскрытие которой потребовало бы привлечения и проработки источников в количестве, пока что для меня неподъемном.

Забвение старых этимологий иногда оказывает плохую услугу компаративистике. Есть ряд случаев, когда сближения, популярные в XIX веке, оказались произвольно отброшены индоевропеистами первой половины XX в., так что к его концу некогда вполне прозрачные в глазах ученых лексемы индоевропейских языков начинают походя трактоваться как «неэтимологизируемые», давая поводы для «субстратных» или «адстратных» гаданий. А между тем перепроверка материала зачастую побуждает реабилитировать старые объяснения, хотя иногда на совершенно новом уровне семантической проработки.

Именно такой случай – лат. *forma*, с долготой корневого гласного, восстанавливаемой по ряду надписей и по некоторым романским отражениям, вроде ст.-франц. *fourme*. В XIX в. Л.Мейер, В.Корсен, А.Ваничек, и Г.Курциус без колебаний видели в этом слове корень **dher-* «держать, крепить, нести», предполагая точной параллелью к *forma* некое редкое образование из трудов санскритских грамматиков *dhariman* «образ»⁸ [Corssen 1863:169-170; Vaniček 1874:77; Curtius 1879:257, со ссылкой на оставшуюся мне недоступной статью Л.Мейера от 1850г.]. Более известные древнеиндийские производные от того же корня *dharma*, вар. *dharman*, учитывались исключительно в значениях «долг, обряд, закон» и рассматривались как продукты иного смыслового развития, чем у *forma* - развития, якобы, общего с греч. *θρησκεία* «религиозное почитание» (сходно о *dharma* –[Boisacq 1923:349-350]).⁹ Но в XX столетии это толкование лат. *forma* было радикально отвергнуто этимологами. А.Вальде и переиздавший его словарь Й.Хофман сочли эту идею ложной на странном основании

⁸ [Böhtlingk, Roth 1861:880] ;в «Законах Ману» (8, 321) то же слово употребляется со значением «веса» (украденного золота или серебра). Его не надо смешивать с *dhariman* «поддержание», известным по RV I,128,1; IX,86,4.

⁹ Впрочем, стоит припомнить размышления Курциуса о том, что “*forma* bezeichnet also die Gestalt als die “feste” in Gegensatz zu der zerfließenden, verschwimmenden und unbegrenzten Materie” и что эта идея «прочности, твердости, определенности» роднит также с латинской *формой* и древнеиндийскую *дхарму* [Curtius 1879:168-170]. Среди лингвистов XIX в. наособицу мыслит Г.Остгоф, сближавший лат. *forma* и *formula* с др.-инд. *brahman* «молитва», «благоговение», «священное знание», др.-исл. *bricht* «колдовство», др.-исл. *bragr* «поэтическое искусство» [Osthoff 1899: 131-132].



семантической отдаленности лат. *forma* от таких рефлексов **dher-* в латыни как *firmus* «прочный» и *frētus* «уверенный» [Walde-Hofman 1938:531]. Об руку с ними А.Эрну и А.Мейе полагают «наиболее соблазнительным» видеть в *firmus* точное соответствие к др.-инд. *dharma* (аномальный корневой вокализм *firmus*, где по латинским надписям к тому же окказионально прослеживается долгота, однако без романских подтверждений, они оправдывают ссылками на итальянские диалектизмы вроде *stircus* или *Mircurios*) [Ernout-Meillet 1979:237].¹⁵ Для *forma* же они не видят твердой этимологии, однако, как и Вальде-Хофман, уделяют много внимания его созвучию с греч. *μορφή*. При этом возникают существенные трудности в плане консонантизма. Ибо в латыни при сопоставлении *forma* с *μορφή* приходится предполагать не обычную диссимиляцию *m>f-m*, как в соответствиях греч. *μόρμηξ*: лат. *formica* или греч. *μόρμοι* «пустые страхи» (Hes.): лат. *formido*, а какую-то беспрецедентную метатезу. Поэтому Э.Бенвенист, на которого ссылаются Эрну и Мейе, предложил им для *forma* ничем не подтверждаемый промежуточный прототип вроде **mōrma*. Естественно, что при этом французскими авторами на сцену вызываются в качестве посредников между греческим и латынью «загадочные этруски», как бывает почти всегда, когда этимологам надо на кого-то списать неясные для них элементы в латинском [Ernout-Meillet 1979:247] В результате, слово *forma* не учитывается вообще в крупнейших индоевропейских этимологических словарях прошлого века – в доработанном и переизданном Ю.Покорным словаре Вальде, и далее, в словаре самого Покорного.

На этом фоне очевидна смелость В.Н.Топорова, который – в комментарии к труду Ф.И.Щербатского о слове *dhárma* – в числе иных индоевропейских продолжений основы **dher-m-* помянул, наряду с лат. *firmus* и *firmare*, лит. *dermė* «гармония, согласие, союз», также и лат. *forma* – последнее, правда, под вопросом («может быть») и без разъяснений семантического аспекта [Топоров 1988:367].

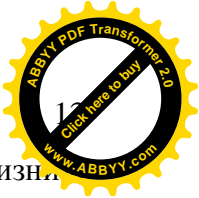
На деле же лат. *forma* и др.-инд. *dharma* представляют соответствие поразительное, если принимать в расчет все семантическое поле латинского слова в целом (как это поле описано и документировано в «Тезаурусе латинского языка» [ThLL 1912-1926: 1065-1087]), а не ограничиваться тривиальными значениями «внешнего облика», «красоты» и т.п. Впрочем, даже в это употребление слова комментарии грамматиков вносят важные ориентирующие нюансы, - вспомним различие *forma* и *vultus* «обличье» у Доната

¹⁵ Впрочем, другие ученые видят в этих случаях лишь оригинальное диалектное развитие гласного перед *gs-*, как в оск. *amīricatud* «посредством торгов» (=лат. **immercato*) [Тронский 2001:83]. В таком случае вокализма лат. *firmus* эти факты объяснять никак не могут. Он также остается загадкой и при попытках возвести *firmus* к **dhrg'h-mo* - как будто бы точное соответствие лит. *diržmas* «крепкий» [Walde-Pokorny 1930:859].



(Ter.Andr. 119: forma immobilis est et naturalis, vultus et movetur et fingitur «образ (forma) неизменен и дан от природы, обличье изменчиво и может измышляться»), и особенно определение Нония – *formam integritatem speciei esse* т.е. «форма есть целостность образа» или «форма есть образ как целостность» - как бы возрождающее этимологический смысл «держания – сведения воедино материи, признаков или элементов» (цит. по: [ThLL 1912-1926:1065]). Он же, этот базисный смысл «держания», более чем нагляден в таких конкретных употреблениях слова как «рама для картины» (см. *Vitr. 28,9 e...parietibus...picturae excisae...inclusae sunt in ligneis formis* «на стенах...вырезанные картины...заключены в деревянные рамы») или «водопровод», «искусственное русло» (*Ulp.dig. 30,39,5 aquae forma* «форма воды» то есть «водопровод»; *CIL VI, 1258 aquas...nova forma reducendas* «проведение заново воды посредством нового водопровода»; *Frontin.aq.75 formas rivorum perforant* «пролагают русла каналов»; *Pallad. 9, 11,1 aqua ducitur aut forma structili aut plumbeis fistulis* «вода подводится либо при помощи сложенного из кирпичей водопровода или посредством свинцовых труб»; *CIL VI, 31564 formam aqu(ae) Virginis vetustate co(n)lapsam* «водопровод Девы, из-за древности разрушившийся»). Прослеживая по страницам «Тезауруса» приложение слова в сходном смысле к разнообразнейшим живым и неживым объектам вплоть до мироустройства в целом (*Cic. nat.deor. II,48: innumerabilesque mundos alios aliarum esse formarum* «несчетны суть иные миры иных форм»), в том числе к рукотворным изделиям – произведениям искусства и т.п. – и к развертыванию различных дискурсов (*forma disciplinae, formae et genera dicendi* – ср. *Cic. De orat. III, 141; Tac. Dial. 18* и др.), мы, в конце концов, выходим на те значения, которые имеют первостепенную важность для внешнего этимологического сравнения.

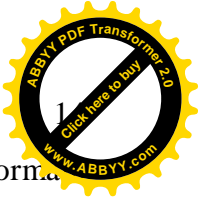
Это, во-первых, семантика «способа, коим совершается некое дело или осуществляется какое-то явление» (*ThLL 1912-1926: 1076: modus et ratio qua res aliqua agitur* – *Cic.Mil. 1 haec novi iudicii nova forma* «этот новый способ нового судопроизводства»), в том числе применительно к строю государства, к статусу и укладу отдельных его частей: провинций, префектур, городских общин и т.д. – см. столь частые у Цицерона сочетания *forma rei publicae, formae rerum publicarum* (*Rep.1,53; Tusc.II,36; Ad Brut. I,15* и др.) или конструкции у других авторов типа *Tac. Hist. IV,39: rediit urbi sua forma legesque* «возвращены городу уклад (форма) его и законы»; *Vel. II,44: Capua in formam praefecturae redacta* «Капуя, низведенная до статуса префектуры»; *Liv.Perioch.45: Macedonia in provinciae formam redacta* «Македония низведена до статуса провинции». Понятно, как у такого слова развиваются производные значения «правило», «норма, закон», «предписание» (*ThLL 1912-1926:1085*), ср. *Sen.epist.8,5: hanc sanam ac salubrem*



formam vitae tenete «следуйте этому...здоровому и спасительному укладу жизни». Quint.Decl.264: certa forma ad quam viveremus instituta «установлен определенный закон, чтобы мы жили согласно с ним»; Colum.II,2,21: formam hujus operis comscribere, quam velut sectam legemque...sequantur agricolae «описать правила этого дела [вспашки земли], чтобы им как закону и указанию следовали земледельцы». Эти смыслы еще более конкретизируются и «опредмечиваются» в поздней латыни, где слово *forma* может обозначать указ императора, магистратов и т.д., каковым устанавливается определенный правопорядок (см.: Fronto I, 6,3: si hoc decretum...tibi placuerit, formam dederis...magistratibus, quid in eiusmodi causis decernant «если это постановление ...тебе понравится, дай указание (=образец) магистратам, что постановлять в подобных случаях»).

Во-вторых, и это не менее важно, *формой* может именоваться «представление о некоем предмете, охватывающее все то, что ему свойственно» (ThLL 1912-1926:1077: notitia alicuius rei qua omnia quae eius propria sunt, comprehenditur) - скажем, когда Цицерон говорит ut ad officii formam revertamur «если мы обратимся к представлению о долге (= к идее долга)» (off.1,103); или указывает на то, как in omni re difficillimum est formam...exponere optimi «во всяком деле труднее всего – выразить представление о наилучшем» (Orat.36); или, вспоминая о Катоне Старшем, характеризует его речи как несущие formam quondam ingenii sed admodum inpolitam et plane rudem «некий образ дарования, но весьма необработанный и поистине грубый» (Brut.294). При этом в переложениях Платона forma естественно применяется как эквивалент платоновской «идеи» (Cic.orat.10 has rerum formas appellat ιδέας «называет эти образы вещей *идеями*»). Данный участок смыслового поля прямо стыкуется с предыдущим, отмеченным семантикой «нормы, закона и т.д.», когда слово обретает смысл «образца, по которому строится некий объект или деятельность», «объекта подражания», см. Val.Max.8,15,6 magistratibus exemplum atque formam officii Scaevolam «Сцеволу как пример магистратам и образец исполнения долга»; Cic.Att.1,19: nostrae quidem rationis et vitae quasi quondam formam...vides «ты видишь как бы некий образец нашего строя мыслей и нашей жизни». Такое употребление оказалось подхвачено также и христианской латынью (Vulg.II Thess.3,9 ut nosmet ipsos formam [=τύπον] vobis daremus ad imitandum «чтобы себя самих дать вам в образец для подражания»).

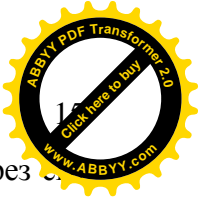
Реализуя семантику словопонятия forma как «программируемого действия», христианские авторы не устают повторять, что Христос «поставив самого себя в образец деяния и суждения» (Hil., in Math. 12,24 – formam se ipsum agendi sentiendique constituens), «сотворил образ уничижения» (Optat.5,3 – fecerat formam humilitatis), обещая в будущем



явить образец правосудия - и вообще, «дал своим образец» (Tert.Idol.18 – dedit forma suis) (обзор см.: [ThLL 1912-1926:1085]).

Вот эти значения «образа действия», «образа жизни», «нормы, долга, закона», «совокупности сущностно значимых атрибутов», «образца», отмечаемые у лат. forma, как раз и открывают путь к его прямому сопоставлению с др.-инд. dharman, dharma в тех же или близких смыслах «долга», «закона», «обряда», «атрибута», «качества, раскрывающего сущность». Семантика как латинского, так и древнеиндийского терминов, похоже, опирается на одну и ту же внутреннюю форму, каковой выступает «устойчивая конфигурация элементов, признаков либо актов, создающих интегративный образ предмета или явления, обнаруживающих его природу и его назначение». Отсюда то развитие, при котором и forma, и dharma могут выражать идею «надлежащего качества и строя жизни», «истинного существования» (см. в «Брихадараньяке Упанишаде», разделе «Мадху» 1, 4, 14 о тождестве *дхармы* и *истины*, satyā). Древняя внутренняя форма, похоже, проступает уже в ряде ведийских контекстов. Например, когда в «Ригведе» (П,13,7) Индра «цветущие и плодоносящие (деревья) и реки распределил (vy...adharayah) согласно с дхармой (dhármaṇādhi)», то в этом пассаже (обыгрывающем связь dharman и dhar- «держат», здесь – «держат врозь, распределять», vidhar-) речь идет либо о должном строе миропорядка, его идеальной *форме* либо об идеях-формах самих явлений, о комплексах их качеств, определяющих их распределение богом. Когда же (IV, 53,3) бог солнца испускает на всю вселенную крик svayā dhármaṇe «ради своей дхармы», последняя есть не что иное, как те свойства сущности бога, которые определяют его мировое проявление – его *форму* в широком смысле слова. В гимне V, 81,4, где тот же бог «по (своим) дхармам выступает Митрой» (mitró bhavasi deva dhármabhih), в виду имеется способность божества в частных своих проявлениях-качествах совпадать с иным божеством, для природы которого они наиболее обычны, так что оно, это божество, оказывается как бы *формой* репрезентации восхваляемого бога.

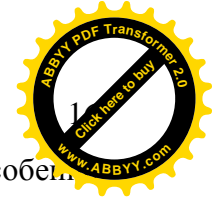
Между латынью и санскритом в употреблении данных слов немало переключек, частично отражающих общее наследие, частично же – гомологию развития. Индийская мировая *дхарма* переключается с латинской *формой* миропорядка (см. выше у Цицерона). Латинское понятие о *форме* государства, города, провинции и т.д. вызывает в памяти слова Артхашастры (Ш,7) о *дхарме* областей, каст, объединений и деревень, выражающейся в присутствии им порядке наследования, (deçasya jātyāḥ saṃghasya dharmo grāmasya vāriyaḥ ucitas tasya tenaiva dāyadharmam prakalpayet), а заодно и указание «Законов Ману» (I, 118) на «вечную дхарму страны, дхармы каст, сект и профессиональных сообществ» (deçadharmāñ jātidharmāñ kuladharmāṃṣa çāçvatāñ pāṣaṇḍagaṇadharmāṃṣa). В



латыни *форма*, а в древнеиндийском *дхарма* каждого сообщества раскрывается через нормативный порядок жизни. И даже *форма* в смысле «творящего правопорядок указа правителя» находит параллель в индийском представлении о царе-насадителе и владыке *дхармы* (законного порядка, благочестия и благонравия), выразившемся, пожалуй, наиболее рельефно в надписях Ашоки – этих манифестациях и декларациях государственной *дхармы*.

В некоторых случаях дискурсы с участием др.-инд. *dharma(n)* и лат. *forma* обнаруживают тяготение к цельноформульному параллелизму. Любопытны случаи сочетания лат. *forma* с глаголом *videre* в смысле морально обязущего познания человеческих качеств и норм (Cic.off.III,81: *excute intelligentiam tuam ut videas quae sit in ea species, forma et notio viri boni* «поройся в разуме своем, чтобы *увидать*, каковы в нем образ, *форма* и идея доблестного мужа»), напоминающие о таком древнеиндийском композите как *dharma-vid* «знающий закон», «ведающий обязанность». Ведийский оборот *divó dhárman* «дхарма (=держание) неба», относимый в RV V, 15,2 к мифическим «пребывающим в основании (неба) мужам, нерожденным весте с рожденными» (*dharūṇe sedúṣo nṛñ jātaír ájātāñ*), приводит на память латинское словосочетание *caeli forma* (ср. Cic.Tusc.I, 68 *nocturnam...caeli formam undique sideribus ornatam* «ночной образ неба, отовсюду украшенный звездами») и далее употребление *caeli forma* или просто *forma* в астрологических текстах со значением «сочетание светил в тот или иной судьбоносный момент» (Manil. I,60; 3,178 и др.; см. цитаты в [ThLL 1912-1926:1071]). Не исключено, что др.-инд. *divo dharman* и лат. *caeli forma* могли бы восходить к общему прототипу в индоевропейском поэтическом языке, обозначавшему совокупность астральных «обитателей» и «держателей» неба.

Конечно, *доминанты* семантических полей лат. *forma* и др.-инд. *dharma* существенно различны. В латинском поле исключительно сильна семема «зрительного восприятия, созерцания» внешних образов и конфигураций. В древнеиндийском же – преобладает мотив «программности», «санкционированности» неких действий, подсказываемых *дхармой*. Эта доминанта, кстати, по-разному проявляется в употреблении термина *дхарма* религиозными учениями и философскими школами Индии: будь то учение мимансы о *дхарме* как призыве к должному (ритуальному) действию, понимание *дхармы* в джайнизме как условия всякого действия и адхармы как условия покоя, или буддистская доктрина *дхарм* – «тонких, конечных, далее недоступных анализу элементов материи, духа и сил» [Щербатской, 1988:165], которые способны, возбудившись, воспроизводиться в жизненном потоке в порядке проявления закона кармы. Семема «программируемого действия», центральная в поле *дхармы*, занимает в поле латинской *формы* ограниченное

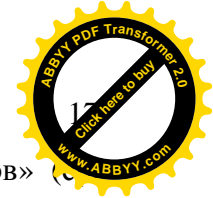


место, хотя, как видно, отнюдь ему не чужда и, более того, по показаниям ThLL, особенно активизируется в латыни поздней, включая христианскую.¹¹

В фонологическом плане не видно препятствий к предлагаемому сближению. Во всяком случае, таким препятствием не может быть долгота корневого гласного в лат. *fōrma*, противоречащая – как и спорадическое удлинение в *fīrmus* – т.н. «закону Остгофа» (о сокращении долгих гласных перед сочетанием «плавный+любой согласный») и потому иногда трактуемая в качестве вторичного, позднейшего явления [Тронский 2001:191-192]. Но небольшого комментария она, однако же, заслуживает. Несомненно, что некоторым древнеиндийским производным от **dher-* соответствуют в итальянских языках сходные образования от того же корня, но с ларингальным расширением. Ср. др.-инд. *dhṛti-* «стойкость»: умбр. *frite* (абл.) «верностью» (обозначение некоего атрибута, которым заклинаются разнообразные божества в молениях Игувинских таблиц) < **dhr-eH₁-ti-*; др.-инд. *dhṛta-* «верный» в композитах вроде *dhṛta-vrata-* «верный обету»: лат. *frētus* «уверенный» < **dhr-eH₁-to-* (В итальянском известны, хотя и редки случаи полной ступени основы, кончающейся на лариингал, перед суффиксами *-to-*, *-no-*, как например, в лат. *fātum* «предсказание, судьба» при греч. *θάς-φατων* «оракул», или в лат. *plēnus* «полный», при др.-инд. *pūrṇaḥ* то же). Между тем, странный вокализм лат. *fīrmus* едва ли не лучше всего объясняется на правах «италицизма» из **fērmos*, с таким же развитием *ē>ī*, как во *frite*, и с тенденцией к сокращению долгого гласного по «закону Остгофа». Хочется спросить: не может ли эта долгота корневых гласных в **fērmos*, *fōrma* представлять след того же старого ларингального расширения (**dher-H-(C)-*/ **dhor-H-(C)-*), что налицо во *frētus* и умбр. *frite*, которые соотносятся огласовкой с первыми двумя формами, как Бенвенистовы «основы 2» с «основами 1»? В любом случае лат. *forma*, будь оно продолжением **dhor-H₁-meH₂* или **dhor-meH₂*, вправе рассматриваться в качестве образования, вполне параллельного к **dhor-men*/**dhor-mo/e-*, отразившемся в др.-инд. *dharman/dharma*.

Но важно не только само по себе соответствие терминов с ценностно нагруженной мировоззренческой семантикой на западной и восточной периферии индоевропейского ареала, поддерживаемое также и лит. *dermė* «гармония, согласие» (< **dherm-yeH₂*), *dermūs* «гармоничный», «согласованный», *deramas* «подходящий, годный» с тем же базисным

10 Если бы какой-нибудь знаток санскрита возжелал переложить на него рассуждения раннехристианских латинских писателей о Христе, который являет и дает своим последователям *formam* (= *formam agendi sentiendique*), возможно, такой переводчик не подыскал бы лучшего эквивалента для этого латинского словопонятия, чем *dharma*.



при назначении «устойчивой конфигурации, согласованного сочетания элементов» примечательную смысловую конверсию в лит. *derėi* «подходить, быть годным» <*dher- «держат, крепить»).¹² Не менее, если не более важно то, что в случаях с *дхармой* и *формой* мы касаемся терминов, обретших исключительное значение в интеллектуальном аппарате двух великих индоевропейских цивилизаций, поднявшихся в противоположащих концах Евро-Азии. Это тот случай, когда этимологическое родство включает в себе перспективу обширного сравнительно-культурологического исследования. С учетом др.-инд. *dharma* несколько иначе воспринимаются слова Цицерона о *форме* государства, *форме* всего наилучшего, *форме* доблестного мужа и т.д. – или мысль Квинтилиана о некой «*форме*, установленной, чтобы жить сообразно с нею». Но, с другой стороны, учет лат. *forma* вносит важные нюансы в понимание многих древнеиндийских контекстов, в частности таких, где *дхарма* мыслится как проявление некой сущности. Знаменитое место из «Веданта-сутры» (1,1,20-21) о соотношении между трансцендентным Брахманом и Внутренним Правителем, живущим в Солнце и в зрачке человека *antastaddharmopadeṣāt bhedavyaparadeṣācānyaḥ* «Внутренний (Правитель), согласно учению, - его (Брахмана) *дхарма*, но, по указанию на различие, есть и иной (Брахман)» - может быть осмыслено в духе трактовки Внутреннего Правителя как космической формы-проявления Брахмана-Абсолюта.¹³

Везде, где индийская *дхарма* сохраняет смысл «образа», «строя», «порядка-конфигурации», «сущностно значимого качества», «свойства» и т.п., европейская *форма* оказывается законным комментарием к «дхарме». Но везде, где европейская *форма* несет в культурной истории Запада коннотации долженствования, обязательности, - индийская *дхарма* предстает комментарием к «форме».

¹² Этимологическая структура лат. *forma* и др.-инд. *dharma* заставляет вспомнить давнее, предложенное еще А.Фиком и детально разработанное Г.Остгофом объяснение греч. *μορφή* через глагол *μαρπτω* «схватывать» с толкованием *μορφή* как аналога к нем. *Fassung* [Fick 1872:171-173; Osthoff 1899:137-139]. При этом позднеэпические (гесиодовские) формы вроде *μέμαρπεν*, *μέμαρπός* (Hes.Sc.245; Op.204) Остгоф склонен был расценивать как результаты скрещения основ *μαρπτω* <**μαρφειω* и темного по происхождению, но близкого по смыслу глагола *ματω* (см. Hes.Sc. 231, 252 – *μαλέειν*, *μεμάποιειν*). Но в XX в. *μορφή* обычно включали в одно гнездо с греч. *μόρφος* «темный, темноперый (о птицах)», *αἴθρῳβός* «темный», лит. *maĩgas* «пестрый, рябой» - то есть, связывая этимологический смысл *μορφή* исключительно со зрительным (изначально контрастивно-цветовым) восприятием [Voisacq 1923:645; Pokorný 1959:733-734; Frisk 1970:258].

¹³ Ф.И.Щербатской, характеризуя буддистские *дхармы* как «элементы бытия... моментальные проявления, моментальные всплески в феноменальном мире из неведомого источника», вслед за тем отмечал, что «единица изменения именуется термином *dharma*, как в йоге, так и в буддизме». Он добавляет, что и в учении санкхьи «также изменение проявления называлось изменением *dharma*; но в брахманской системе совершенно естественно употреблять этот термин, ибо старое и обычное его значение – «качество» и, с точки зрения санкхьи, изменяющиеся проявления – это принадлежность некоторого всепроникающего вещества». Причем, по словам этого авторитета, «проявление (*dharma*) и проявляемое (*dharmin*) совершенно одно и то же; проявление представляет лишь путь, на котором проявляется проявляемое» [Щербатской 1988: 141, 147]. Но суммарное качество, в котором и через которое проявляется некая сущность, - не предельно ли это близко к тому, что в Европе с античности привычно понимать под «формой»?



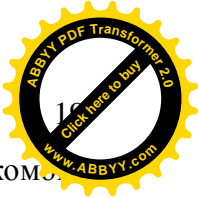
3. Дело о Пренестинской фибуле: к оценке аргументов.

Данный этюд я представил в первом варианте на чтениях памяти И.М.Тронского в 2003г. – видя в них достойный повод обсудить проблематику Пренестинской фибулы. В своих трудах по истории латыни Тронский постоянно обращался к надписи на фибуле Manios: med: fhe ÷ fhaked:(=vhe ÷ vhaked): Numasioi «Маний меня сделал для Нумасия»(или «Маний меня посвятил Нумасию»[Colonna 1979:163-164]), как к древнейшему памятнику этого языка (УП в.до н.э.), иллюстрировал динамику латинской фонетики и морфологии сопоставлением форм из «надписи Мания» с позднейшими. Можно было лишь пожалеть, что ученый не дожил до начала 1980-х гг., когда статус самой фибулы и текста на ней стал предметом бурного спора среди антиковедов и лингвистов после выхода работ А.Гордона и особенно М.Гвардуччи [Gordon 1975; Guarducci 1980; Guarducci 1984; Guarducci 1987; Guarducci 1991]. Я обсуждал в докладе скандальную ситуацию, которая создалась вокруг Пренестинской фибулы в академическом сообществе на рубежах XX-XXI вв. Однако в 2004г. в итальянском журнале «Дайдалос» появилась очень важная статья М.Манчини, постаравшегося суммировать те имманентные языковые и эпиграфические особенности, которые будто бы сами по себе, независимо от ситуации исторического скандала, дискредитируют надпись на фибуле в качестве подлинно древнелатинского текста. Сердечно благодарю коллегу А.Кейдана, ознакомившего меня с работой Манчини. Эта статья побудила меня дополнить доклад при подготовке его к печати второй – так сказать, «манчиниевской» (или «антиманчиниевской») – частью.

I

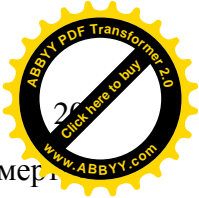
Труды Гордона и Гвардуччи дотошно воссоздают перед нами судьбу фибулы в XIX – начале XX вв.:

- ее первую презентацию в январе 1887г. видным археологом В.Гельбигом, вторым секретарем Немецкого археологического института в Риме, на заседаниях сперва этого Института (7.1), а затем Академии Деи Линчеи (16.1) в качестве изделия, будто бы найденного в 1871г. в некоем пренестинском погребении по соседству с гробницей Бернадини;
- посвященные фибуле сообщения в том же 1887г. Гельбига и видного филолога-классика Ф.Дюммлера в «Wochenschrift für klassische Philologie», также в «Mitteilungen» Немецкого археологического института в Риме и в «Rendiconti» Академии Деи Линчеи;



- передачу ее 30 июня 1889г. в Музей Вилла Джулия как дара от близкого знакомого Гельбига – коллекционера и торговца антиквариатом Ф.Мартинетти;
- ее присоединение в 1901г. к экспозиции находок из гробницы Бернардини в Музее доистории и этнографии (совр. Музей Пигорини); поводом для этого перемещения фибулы послужило адресованное основателю Музея доистории и этнографии Л.Пигорини письмо от сотрудника Гельбига Дж.Каро, где, со слов уже умершего в 1895г. Мартинетти; сообщалось, что прославленный артефакт на деле происходил из самой гробницы Бернардини и был оттуда украден во время проводившихся с 1876г. раскопок;
- кривотолки и легенды, окружавшие фибулу в итальянской научной среде на протяжении XX в.;
- ряд выступлений антиковеда Дж.Пинцы, начавшего с простых сомнений в подлинности вещи (1900-е гг.) и кончившего заявлениями в 1920-30-х гг. , со ссылками на покойного к тому времени ювелира А.Кастеллани, якобы фибула была изготовлена неким золотых дел мастером по образцам из гробницы Бернардини, а надпись процарапана под диктовку каких-то «ученых иностранцев» (dotti stranieri);
- колебания прославленного лингвиста В.Пизани, в 1920-х общавшегося с Пинцей, а затем в разные годы высказывавшего о самой фибуле и о надписи взаимоисключающие суждения (отсюда видно, что Пинца не сообщил своему собеседнику ничего конкретного, однако, сумел взбудоражить душу молодого лингвиста);
- наконец, отделение фибулы в 1960г. от вещей из гробницы Бернардини, когда они перешли в Музей Вилла Джулия, а фибула была оставлена в Музее Пигорини

Включившись в эту историю, Гвардуччи придавала дотопе сугубо академической проблеме Пренестинской застежки ярко детективную окраску. Она указала на ряд фальшивых антиков, поступивших в конце XIX в.в европейские собрания из магазина Мартинетти при экспертной поддержке Гельбига (цисты с поддельными изображениями, проданные в копенгагенскую глиптотеку псевдоантичные статуи «Диадумена» и «Атлета»); на участие Гельбига и Мартинетти в реализации знаменитой подделки – т.н. «Бостонского трона» и т.д. Надо сказать, после фактов, подобранных итальянской исследовательницей (так бы и хотелось написать «расследовательницей»), спорить, защищая доброе имя Гельбига, непросто, да и неохота: кажется, его человеческую репутацию можно было бы восстановить лишь сугубо неприемлемой ценою – научно дисквалифицировав как одураченного простака блистательного автора «Гомеровского эпоса в свете памятников» и «Путеводителя по публичным собраниям классических древностей в Риме». С другой стороны, следует постоянно помнить, что к делу о фибуле все это имеет лишь косвенное касательство, как и нагнетаемые Гвардуччи рассказы об



альности Мартинетти, о найденных в его доме в 1930-х, через 40 лет после его смерти. Тайниках, хранивших, помимо больших денежных сумм, массу античных изделий – гемм и т.д. Главное – при всем этом остается абсолютно непонятно, какие мотивы для изготовления из золота фальшивой фибулы ради ее щедрой передачи в дар музею могли быть даже не у Гельбига (ему-то Гвардуччи приписывает намерение свысока подшутить над одураченным научным сообществом), а у выставляемого его подельником «жадины» Мартинетти.

«Ударный» раздел первой, самой обширной и нашумевшей публикации Гвардуччи, содержал результаты многообразных экспертиз, проделанных по инициативе автора в конце 1970-х, из которых по-настоящему значимой для обсуждаемого вопроса оказалась лишь одна: скрупулезный микроструктурный анализ фибулы, выполненный геологом Г.Девото, обнаружил полное отсутствие у ее золота тех изменений, которые неизбежно возникают при длительном пребывании в земле – зернистости, ломкости, минеральных вкраплений. Вместо этого выявились следы обработки явно недревнего изделия каким-то наводящим патину коррозионным веществом, причем обработки, проводившейся, по Девото, в два захода – сперва до, а затем после процарапывания надписи [Guarducci 1980:546-554]¹⁴ На фоне этих наблюдений, производящих сильное впечатление, несколько легковесными выглядели попытки Гвардуччи методами графологической экспертизы прямиком обосновать тождество некоторых начертаний на фибуле с немецким курсивом XIX в., а особенно с прорисовками античных надписей рукой Гельбига [Guarducci 1980:534-535]. Эти попытки, к которым я еще вернусь, получили поддержку эксперта-графолога Н.Палаферри [Guarducci 1984: 128-130], однако кое-кто из рецензентов отмечал, что буквы с фибулы в книге Гвардуччи приводятся нарочито стилизованными под немецкий курсив, существенно отличаясь от оригинала [Krummrey 1982:585]. Казалось бы, данная идея шла вразрез с муссируемым Гвардуччи пресловутым «свидетельством» Каstellани, который вменял «ученым иностранцам» лишь надиктовку текста процарапавшему его резчику. Однако эта Эвменида Гельбига и его приятеля-антиквара нашла выход из положения, заявив, что сам Гельбиг мог начертать для Мартинетти прообраз надписи, а тот – перерисовать ее на фибулу [Guarducci 1980:534].

Публикации Гвардуччи заразили массу лингвистов и антиковедов (среди них и А.Гордона, чей голос звучал до того более сдержанно (но ср.[Gordon 1982]), негативно-

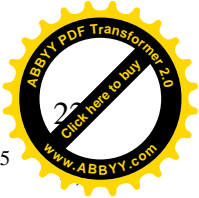
¹⁴ Что касается художественной стилистики фибулы, вывод привлеченных в эксперты специалистов по подобным изделиям Ф.Ла Скаява и Л.Каррачини, гласил: «фибула Мартинетти» не является копией ни с одной из известных античных застежек, однако же практически все особенности ее оформления находят параллели и аналоги в декоре иных фибул эпохи этрусско-италийской архаики. Для Гвардуччи, понятное дело, такое суждение – лишний повод высказаться о злосчастном изделии как о результате компоновки из деталей, надерганных отсюда и отсюда {Guarducci 1980: 469, 558-561}.



ироническим отношением к «оскандалившейся» фибуле. Это отношение очень хлестко выразил А. Просдочини в заглавии своего выступления “Helbig med fefaked?” (см. ссылку Mancini 2004: 3-4), обыграв переключку экзотической для латыни формы из «надписи Мания» с англ. fake «подделка». Среди хора, ставившего в 1980-х крест на фибуле и на «надписи Мания» как на латинских памятниках (см. подборку аннотаций [Guarducci 1984:170-174]), контрастно выделились позиции Дж.Колонны, оставшегося при своем старом мнении о подлинности надписи [Guarducci 1984:172], а также немцев Г.Радке и Ф.Виакера, которые в чаянии будущей повторной экспертизы изделия, сосредоточились на тексте. Точнее – на его особенностях, необъяснимых, по мнению этих ученых, в случае признания фальсификации 1887г. или более ранней, - особенностей, вовсе не предусматривавшихся компетенцией тогдашней науки, но явившихся для нее с обнаружением фибулы подлинными открытиями – и в двух-трех случаях, открытиями довольно существенными [Radke 1984; Wieacker 1984].

До появления разоблачений Гвардуччи текст на фибуле использовался историками латыни как совокупность свидетельств эпиграфических (диграф <vh> для передачи звука [f]); интерпункция, отделяющая перфектное удвоение от корня; сочетание разных знаков – троеточия и двоеточия – для выделения различных языковых единиц); фонетических (отсутствие ротацизма и редукции гласных); морфологических (номинатив и датив тематических основ ед. числа на -os, -oi); латино-фалисский аккузатив местоимения 1-го лица ед.числа med; глагольное окончание 3-го лица ед.числа -d <и.-е.*-t, перфектная редупликация основы fac-< и.-е. *dheH₁-, как в оск. fefacid, fefacust из Tabula Bantina (Ve 2, стк.10,11,17) при лат. feci, арх. feced, арх.пренест. fecid (в надписи Ve 367a конца IVв. до н.э.[Wachter 1987:124]). Гвардуччи была безоговорочно убеждена, что эти характеристики надписи в основном извлечены фальсификатором из найденной в 1880г. «надписи Дуэноса» и из известной с конца ХУШ в. Tabula Bantina при небольших почерпаниях в иных источниках (трудах грамматиков и т.д.). Фантазия ее простиралась до утверждения, якобы имя Manios с «фибулы Мартинетти», родственное лат. mane «доброе (утро)», представляет попросту перевод duenos (>bonus) «благой» [Guarducci 1980: 452-453].

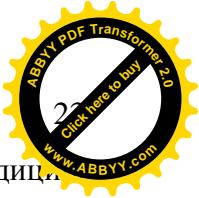
В своей попытке отповеди Радке и Виакер выделяли, как минимум, четыре детали, которые не могли быть перенесены в надпись из известных к 1886г. источников: это 1) написание [f] через <vh> : оно встречается у этрусков и венетов, но значение его было впервые установлено В.Дееке после находки Пренестинской фибулы в его книге 1888г. «Фалиски», а затем подкреплено Э.Латтесом и К.Паули, причем всеми тремя – со ссылкой на глагольную форму из «надписи Мания» как на важнейшее и неожиданное показание,



раскрывшее чтение дотолле загадочного диграфа [Deecke 1888:276; Pauli 1891:99];¹⁵ сама по себе совершенная форма *fefaced* как явление латинского языка; 3) отделение слога-редупликанта троеточием, перекликающееся с фалискским написанием *pe:para[i...]* «я родила» (?) в надписи из Чивита Кастеллана (Ve241) (об этом аргументе подробнее см. ниже); 4) форма имени *Numasioi*, якобы, прообраз лат. *Numerios*, выделяющаяся среди иных, этрусских и италийских, образований от того же корня: этр. *Numesie* (Тарквинии, ок.700 г.до н.э.), *Numisie* (Капуя, конец VI в.до н.э.), новоэтр. *Numsie*, *Numesi*, итал. *Numesios*, *Numisius*, *Nium(p)sis* и т.д.- см. детальный их очерк и анализ [De Simone 1991]. Однако провозглашая все эти явления приметами подлинности надписи, Радке и Виакер почему-то вовсе не обсуждали шансов на *изобретение* каких-то из них фальсификатором-виртуозом, чуть-чуть игриво перешагивающим современные ему пределы научных знаний. А ведь следовало признать, что такая возможность сохраняется для всех случаев, где оригинальные показания фибулы не были поддержаны последующими – так сказать, «контрольными» - открытиями в италистике. Для скептиков, огульно видящих в фибуле и ее тексте сплошную опозоренную подделку, все моменты в надписи, откуда-нибудь известные до 1887г., - скорее всего, оттуда же в нее и перенесены, ну а те, которые и после того года не подтвердились, - представляют просто выдумки поддельщика. И спорить с такой позицией, что называется, «в лоб» - очень трудно. Бессмысленно ссылаться на заведомо подлинные старые надписи, которые не устояли бы против таких атак: к начертаниям на заподозренной вещи – отношение, по праву, особенное, исходящее из презумпции виновности.

Это в полной мере относится к упомянутому совершенному удвоению, не нашедшему до наших дней новых подтверждений для Лация. Что мешает, впрямь, видеть в нем изобретение, отправляющееся от оскских прецедентов и эффектно вживленное в ряд других форм, сфабрикованных по античным показаниям? Сходный случай являет и форма *Numasioi*, тоже не подкрепленная ни одной другой находкой текстов с этим именем. Почему не счесть ее изобретением, опирающимся на соотнесение *Numerios* с основой лат.-этр.*Numa*? Когда убежденный в аутентичности надписи К. де Симоне приводит имя пренестинского героя, установителя гаданий по священным жребиям и, может быть, изначально местного “*Gentilgott*” *Numerios Suffustius* или *Suffucius* (Cic. De div. II, 41) как свидетельство укорененности *Numasioi* в пренестинском контексте [de

¹⁵ Обзор истории этого маленького открытия со ссылками на недоступные нам статьи Латтеса см. [Gordon 1975:52-53]; там же – об установленном в 1930-х Е.Физель способе передачи фонемы [f] у этрусков «инвертированным» диграфом <hv>.

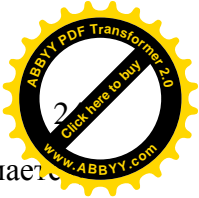


Simone 1991:199]¹⁶ – для Гвардуччи здесь не более, чем невольная подсказка традиции, вероятно, ученная поддельщиком с классическим образованием [Guarducci 1980:451,461].

А вот с диграфом <vh> ситуация на порядок сложнее. Напрасно Гвардуччи пыталась отмахнуться от этой сложности, ссылаясь на изданную в начале 1880-х беотийскую надпись из Танагры с формой Fhεκαδαμοε [Guarducci 1980:457]. Для этой последней фонетический смысл Fh- написания вообще неясен – [wh-] или [hw-], в любом случае не [f]. Более тонкое допущение Р.Пфистера, якобы фальсификатор ориентировался на этрусскую капуанскую надпись *mi numisiies vhelmus (=Fhelmus)*, в которой *vhelmus* передает гентилиций *felmu* [Pfister 1983:112] (эта надпись, впервые опубликованная в 1879г., была затем в 1880г. включена Дж.Гамуррини в приложение к «Корпусу италийских надписей» А.Фабретти [ThLE 1978:260]), споткнулось о все тот же факт, по праву акцентированный еще в 1975г. Гордоном: до 1888г. реальное значение *vh-* в этрусских надписях было неясно. Более того, конкретные написания *vhelmu* и *felmu*, как отмечает Виакер, отождествил лишь в начале 1890-х Паули, ориентируясь на использование <vh> в «надписи Мания» [Wiacker 1984:382]. А потому, если М. Лежен в конце 80-х уверенно заявлял насчет последней: “J’y croit a cause de vh” [Lejeune 1987:286], то убежденному в подделке Э.Хэмпу ничего не оставалось, кроме как гадать, не мог ли Дееке поделиться с кем-нибудь своим открытием не меньше, чем за два года или больше до публикации «Фалисков» [Hampr 1981:152-153]. Есть еще вариант – предположить, что фальсификатор совершил этот интеллектуальный прорыв самостоятельно. В любом случае мы бы имели здесь фабрикацию, основанную на еще неопубликованном открытии, опередившую его появление в печати и потому ставшую в глазах современников его важнейшим обоснованием. С другой стороны, Радке и Виакер ссылаются на передачу латинского [v] через <F> в очень ранней пренестинской надписи на серебряном кубке VII в.до н.э., найденном в 1949г. в той же гробнице Бернардини (форма женского имени *Fetusia = Vetusia*, позд.*Veturia*) как на возможную структурную предпосылку для записи в тех же местах и в ту же эпоху латинского [f], глухого коррелята к [v] в виде <Fh>. Это очень интересный косвенный довод [Radke 1984:60; Wieacker 1984:387] Но окончательного вердикта и он предпринять не в силах.

Наконец, совершенно уникально значение интерпункции, используемой в надписи на фибуле. Гвардуччи пробовала объяснить внутрисловесное треточие имитацией этрусских графических приемов [Guarducci 1980:456-457]. Но здесь совершенно необходимо учесть одно фундаментальное обстоятельство, которое, как ни странно, до

¹⁶ Ср. *Numisius Martius* в римской надписи как прозвище демона из Марсова круга (CIL I², 32), а также соображения Радке насчет возможности видеть в «надписи Мания» посвящение божеству [Radke 1981:96].



сих пор не всплыло в перипетиях дела о Пренестинской фибуле – думается исключительно потому, что *Rossica non leguntur*. Как этруски (с примыкающими к ним в этом отношении венетами), так и итальянцы спорадически применяют внутрисловесную интерпункцию при записи слов – но те и другие применяют ее для совершенно разных целей. У этрусков (и венетов) это средство обозначить отклонение слогов от стандартной структуры СГ – например, когда слог закрытый, или содержит дифтонг, вторая часть которого трактовалась этрусками как консонант, или если он состоит из одного гласного. Отсюда этрусские написания типа *i·tan·*, *aθenei·*, *lav·tunui·* ([Pfiffig 1969:23] со ссылками на более ранние работы Э.Феттера и Ф.Слотти); о подобном же узусе у венетов см. [Pellegrini, Prosdocini 1967, II : 23-27; Тронский 1953:53-55]. У итальянцев же, включая латинян, как ярко показала тридцать лет назад замечательный российский специалист по языкам этой семьи Б.Б.Ходорковская, интерпункция внутри слова при редких случаях «этруско-венетского» употребления, чаще основывается на критерии совсем ином – морфологическом, а не фонетическом: она выделяет служебные морфемы, противопоставляя их корням: оск. *ana.faket* «он(а) посвятил(а)» (Ve 190), *anter.statai* «стоящей посередине» (Ve 147), *am.atens* «полюбовно решили» (Ve 218), умбр. *anter.menzaru* “intercalarium” (Tlg Па 16), *fer.tu* “ferro” (Tlg Пб 12), *purtu.vetu* “porricito” (Tlg Пб 17) и т.д. вплоть до позднейших написаний вроде *inter.essent*, *per.feci* в Monumentum Ancyranum (III,3: IV,14) [Ходорковская 1978: 361-366] (там же о «комбинированном» использовании итальянцами и римлянами разных видов интерпункции для вычленения разных типов языковых единиц – что видим уже и в «надписи Мания»). По всем критериям написание *vhe:vhaked* с внутрисловесным троеточием после **открытого** слога-морфемы радикально противоречит этрусским нормам, но четко отвечает нормам итальянским, в конце XIX в. еще не осознанным лингвистической наукой. Неужели мы должны думать, что фальсификатор открыл и эти принципы, как и значение диграфа <vh>, и использовал свои открытия лишь для того, чтобы запустить начертание *vhe:vhaked* в научный обиход – или что он конструировал наобум и случайно «попал в яблочко» правил итальянского письма?

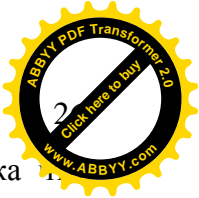
Но еще поразительнее было бы точное предвосхищение фальсификатором конкретного приложения в итальянском мире тех же принципов к перфектной редукации. Я говорю об уже упоминавшейся старофалисской надписи на вазе, осколки которой были найдены в 1889г. в Чивита Кастеллана. Начертания на этих осколках стали предметом лингвистического изучения с 1900-х [Thulin 1908; Vetter 1925], но лишь в 1936г. ваза и надпись были вполне восстановлены в Музее Вилла Джулия. На этой вазе, поднесенной неким Правием своей подруге (*praviosurnam:sociaipordedkarai*),



заключительная часть надписи, «говоря» от лица сосуда, гласит: eqournela..telafitaidupes:arcentelomhuti[c]ilom:pe:para[i..]douiad. В зависимости от понимания выражения arcentelom huti cilom разные авторы тут видят сообщение либо о «литом (fusile) серебре», коим полна как бы «рожающая» его ваза [Knobloch 1958:136; Pisani 1964:348-349], либо о «серебряном сосуде» (futis), который должен быть приложен к глиняной вазе, «родиться» от нее – к чему и призывается в конце Правий (douiad «пусть даст!»)[Giacomelli 1963:43; Giacomelli 1978:526]. У Хэмпа эта, казалось бы, точная графическая параллель между <pe:para[i]> и <vhe:vhaked> возбудила диковатую мысль, якобы осколки из Чивита Кастеллана могли быть открыты на деле не в 1889г., а еще до 1887г. и как-то таинственно стали известны изготовителю фибулы Мартинетти, послужив одним из возбудителей его лингвистической фантазии [Намп 1981:153]. Гвардуччи по этому поводу не нашла ничего лучше, чем сослаться на старые конъектуры Э.Перуцци, отвергавшего в pe:para[i] редупликацию и предлагавшего читать то ли *arcentelomhuti[c]ilom:pe:para[ce]douiad «серебро вдвойне (якобы *pe<per, а *par в смысле “соррiа”) пусть придет (*accedouiad от accedo)!\», либо даже...*pe:para[tece]douiad «пусть быстро (*parate) придет (*pe[r]...cedouiad)! [Guarducci 1980:454; Peruzzi 1964:164-167]. Однако построения Перуцци по отношению к надписи из Чивита Кастеллана откровенно провальны: для образований от и.-е. *doH₃- варианты с w-расширением корня обычны (ср.лит. dāvē «он(а) дал(а), они дали», лтш. devu «я дал», лит. dovanà «дар», лтш. davana то же, слав. *davati, лат. duim, duint (архаический оптатив), умбр. purdouito “porricito” (Tlg VIa 56), хетт. dumeni «мы берем» [Иванов 1981:138], также греч. кипр. инфинитив doFévaλ (to-we-na-i), оптатив duFávoλ (tu-wa-no-i), [Masson 1961:236-237,420], но для конъюнктива основы, соответствующей лат.cedo, такое расширение непонятно и неправдоподобно.¹⁷ Таким образом, отвести соответствие в передачах перфектных удвоений на фибуле и на фалисской вазе гвардуччианцам до начала XXI в. не удавалось без впадения в абсурд, при том, что не было никаких оснований думать, будто форма pe:para[i]могла чудесно открыться фальсификатору при изготовлении «надписи Мания». Оказывалось не так-то просто поверить в фальшивку, не только учитывающую еще не опубликованные открытия, но предваряющую будущие археологические находки!

II

¹⁷ Если уж дерзать на конъектуры, то, поскольку пробел между pe:para[i] и douiad, по оценкам Фетгера и Джакомелли, охватывает один или, самое большее, два знака, здесь, здесь, на мой взгляд, допустимо предположить предлог ad - *[ad]douiad «пусть прибавит!», что отвечало бы гипотезе о серебряном сосуде, который следует за глиняным, или в нем заключен.



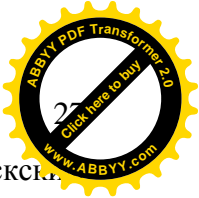
Как уже сказано, начало нового века в деле о Пренестинской фибуле пока отметилась большой статьей М.Манчини, который, в отличие от иных гвардуччианцев, попытался сойти с почвы азартного расписывания гельбиговских гешефтов и обосновать постулат фальсификации исключительно особенностями текста и дуктуса «надписи Мания».

Я привожу по порядку доводы Манчини и встречные соображения, вызываемые у меня этими доводами:

1. Сама по себе словоформа [fefaked] как явление италийское, - пишет Манчини, - была бы «вне дискуссий». Сегодня в параллель к ней можно поставить не только оскский конъюнктив перфекта *fefacid* и будущее II *fefacust* из Бантинской таблицы, но и оскское же будущее II *fifikus* (где *fifik-* < **fefēk-*) с полной степенью корня из капуанской надписи *Ve 6* рубежа IV- III вв. до н.э. в контексте...*svai tiium: idik fifikus...* «если ты это сделаешь», а также «энотрскую» форму V в. до н.э. *fefiked*.¹⁸ При всем том форма [fefaked], уверяет он, мало вероятна именно как *форма латинская*, которая бы сосуществовала в архаическую эпоху с корневым аористом *feced* (пренест. *fecid*), точно соответствующим по образованию греч. $\epsilon\theta\eta\kappa\epsilon$. Как заявляет Манчини, ссылаясь на мнение Просдочими, в латыни [fefaked] не является индоевропейским наследием (это - так : др.-инд. *dadhau*, гот. *dedun*, др.-в.-нем. *tatun* образованы независимо и иначе, без *k*-расширения, а греч. $\tau\acute{\epsilon}\theta\eta\kappa\alpha$, новоаттич. $\tau\acute{\epsilon}\theta\epsilon\iota\kappa\alpha$ появляется как новообразование с IV в. до н.э. [Liddell-Scott 1940:1790]). Но [fefaked] вряд ли может быть и собственно латинской инновацией, поскольку перфект с удвоением – в латыни тип перфекта реликтовый, малопродуктивный и не способный к экспансии, в отличие от типа с долгим корневым [ē], распространяющегося на все новые виды основ (*capio* : *cēpi*, *ago* : *ēgi*, *venio* : *vēni*, см. [Бенвенист 1974:141-144]). Образование [fefaked] можно было бы объяснить как

¹⁸ В статье Манчини не обошлось без библиографических курьезов: так, он приписывает А.Просдочими и А.Маринетти заслугу включения оск. *fifikus* в гнездо италийских рефлексов и.-е. **dheH₁-* [Prosdocimi – Marineti 1994] и тут же упрекает М.Лежена за то, что тот в своей статье 1955г. [Lejeune 1955] якобы зачислил в тот же ряд фалисскую основу *fifik-* (*fifiked*, *fifiqod*) на самом деле родственную лат. *tingo* < и.-е. **dheig'h-* [Mancini 2004:7-8] Однако, именно Лежен в указанной статье 40-летней давности впервые объединил *fifikus* с *fefacid* и *fefacust* и там же твердо отделил фалисскую основу со значением «лепить» от этого гнезда продолжений **dheH₁-k-*. Кстати, там же Лежен свел в очень наглядную таблицу италийские варианты перфекта от **dheH₁k-*:

Тип * <i>faked</i> : умбр. будущее II <i>fakust</i> , <i>fakurent</i>	Тип * <i>fēked</i> : лат. архаич. перфект <i>feced</i> пренест. <i>fecid</i>
Тип * <i>fefaked</i> : (оск. будущее II <i>fefacust</i> , перфект конъюнктива <i>fefacid</i> , лат.-пренест. перфект <i>fefaced</i>	Тип * <i>fefēked</i> : оск. <i>fifikus</i>

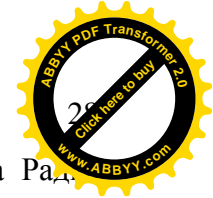


«осцизм» - то есть, как инновацию адстратного свойства, вызванную оскским присутствием в районе Пренесте. Но,- утверждает Манчини, цитируя М.Паллоттино, - оскско-сабельские элементы отмечаются археологами в этих краях с конца VI в. до н.э., а для культурного слоя к которому принадлежит гробница Бернадини с ее окружением (начало VII в.), при сильнейшем этрусском влиянии италийские мотивы практически незаметны. Выходит, что глагольная форма из «надписи Мания» необъяснима ни как индоевропейский архаизм, ни как местное латинское новшество, ни через влияние на латинян со стороны соседей-италийцев. Остается признать ее изобретением ученого фальшивщика [Mancini 2004:5-11].

Ответ: Конечно же, перфект с удвоением и с нулевой степенью корня [fefaked] не выглядит у данной основы таким же древним, как старый корневой аорист fēced (= греч. εἴθηκα). Но ведь для массы языковых явлений характеристика их как архаизмов или новообразований всецело зависит от хронологической глубины реконструкции. На взгляд, скажем, Вяч.Вс.Иванова, соотносящего оба эти класса форм с хеттским вторым спряжением (спряжением на -hi) как с древнейшей нащупываемой точкой отсчета [Иванов 1981:139,153] и лат.feced, и оск.fefacid равно инновационны.

Манчини не вдается в проблематику соотношения перфектов с удвоением и перфектов корневых от основы fak- на италийской почве. А между тем ясно, что оск.fifikus обязано своей корневой долгойю некоему незасвидетельствованному оскскому аналогу к лат.feci и что fifikus возникло на основе этого исконного корневого аориста с полной огласовкой точно так же, как греч. τέθηκα – на базе εἴθηκα. Аналогичным образом параллелизм оск.fefacust и умбр.fakust побуждает думать, что леженовский тип *fefaked возник из типа *faked, который должен был быть известен не только умбрскому, но и оскскому. Иными словами, оскские перфекты с удвоением от fak- и fēk- возникали инновационно из перфектов корневых, сохраненных для нас умбрским языком и латынью. Если в оскско-умбрской ветви типы *fefaked и *fefēked сосуществовали по диалектам, да еще предполагая за собой более простые типы *faked и *fēked, - то непонятно, почему в латино-фалисской ветви дело не могло обстоять точно также и почему здесь появление в одном диалекте формы feced должно, по мнению Просдочими и Манчини, начисто исключать возможность в другом формы fefaked?

Далее. Манчини проходит мимо приводимой антигвардуччианцами [Radke 1984:63; Wieacker 1984:384] сиккульской формы с сосуда из Террамара Граммикеле. В этой надписи значение одной буквы для согласного или сочетания согласных остается спорным. Так что У.Шмоль и А.Замбони читают указанную форму как δεδαξεδ и видят в ней своего рода скрещение типа оск.fefacid, лат.-пренест. [fefaked] и типа латинского будущего II faхо,



конъюнктива перфекта *faxim* [Schmoll 1958:37,73; Zamboni 1978: 958, 987], а Радке транслитерирует ту же форму прямо как *δεδακεδ*, полагая в ней точный эквивалент к [fefaked] [Радке 1981:94-95].¹⁹ Независимо от нашего отношения к глагольной редупликации в «надписи Мания», уже оскско-сикульского параллелизма было бы достаточно, чтобы расценить этот перфект от и.-е. *dheH₁-, с удвоением, нулевой степенью корня и k-расширением, как «старую» общеиталийскую инновацию – инновацию на общеиндоевропейском фоне, которая, однако же, предстает архаизмом и рудиментом для эпохи письменных памятников. Сохранение этого реликта в Пренесте лишь позволило бы достроить пралатинскую картину до общеиталийской, воссоздаваемой независимо от «надписи Мания» по оскским и сикульскому показаниям. Используя форму [fefaked] как довод против аутентичности надписи на фибуле, Манчини исходит из такой схемы языковой эволюции, где понятию «общеиталийской инновации» попросту нет места, а существуют лишь праиндоевропейские архаизмы и новшества отдельных индоевропейских языков.

Лингвистическая схема, включающая общеиталийские инновации, обуславливает совершенно иной взгляд на глагольную форму из «надписи Мания», взгляд, для которого такая форма вовсе не должна быть непременно подлогом.

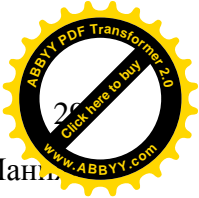
2. Опираясь на материалы корпуса А.Деграсси “*Inscriptiones Latinae liberae rei publicae*”, Манчини пишет о чрезвычайной редкости в эпиграфике республиканской латыни того синтаксического типа предложений, что представлен в «надписи Мания», - с постановкой косвенного объекта в дативе после глагола: на 119 пассажей с дативом, приведенных у Деграсси, таких случаев всего 8, то есть, по Манчини, 7,5%. Если сюда прибавить почему-то неучтенные им «надпись Мания» и «надпись Дуэноса», то будет 8,3%. Эта статистика заставляет Манчини с подозрением отнестись к начертанию <Manios: med: vhe:vhaked: Numasioi>

¹⁹ Варианты чтения этой надписи:

Шмоль: *λτεσεο.ξυδαι δεδακεδ αποτερομ*

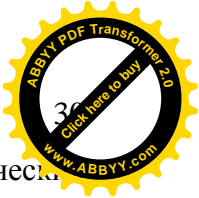
Замбони: *Foltesqoz ξυδαι δεδακεδ αποτερομ*

Радке: *voltes []kudai dedaked apot. erom*> . При всех разночтениях, смысл надписи прозрачен: «Некто Вольтес или Вольтескос, изготовил или посвятил сосуд Ксуде или [...]куде (человеку или божеству)». Общей италийской чертой выглядит отражение индоевропейского глагольного окончания *-t как -d.



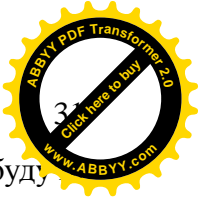
и укрепляет его в мысли, идущей от Гвардуччи, что составитель «надписи Манцини» ориентировался на пассаж из «надписи Дуэноса» *duenos med feced en manomeinom dueno* [Mancini 2004:12-14].

Ответ. Надпись на фибуле с этой ее синтаксической схемой – хотя и редкой, но дозволяемой латинским узусом на правах варианта – для VII в. до н.э. должна была бы географически относиться к южной окраине этрусского ареала, отметившего и Рим, и Пренесте своим, признаваемым Манчини, могучим культурным воздействием. Если допустить достоверность надписи, это влияние можно бы распознать как в применении диграфа <vh> для фонемы [f], так и в самом появлении на земле Лация популярнейшего в Этрурии типа «говорящей надписи», утверждающей от «лица» вещи: «Такой-то меня сделал или посвятил». Надо оговорить, что в своде этрусских «говорящих надписей» архаической эпохи, составленном Л.Агостиньяни [Agostiniani 1982], подтип с указанием, помимо субъекта и прямого объекта, также и косвенного объекта – бенефицианта действия – довольно редок. Тем не менее, случаи постановки такого косвенного объекта после глагола заметно чаще, чем его препозиция к глаголу; ср. TLE 941 *mini spuriaza* [...]mas mulvanice alsaianasi «Меня Спуриаца (...)рна подарил Алсайане»; TLE 917 *mini mulvanik[e] venel rapales laivena* [...] «меня подарил Венел Рапале – Лайвене»; TLE 34 *mini mulvanice mamarce arunie venala* «меня подарил Мамарк Апуни Вене (женскому божеству)». Единственный контрпример – TLE 868 *mi aranθ ramuθasi vestricinala mulvanice* - на деле оказывается спорным. Агостиньяни рассматривает *mi* в этом случае как немаркированную форму аккузатива местоимения 1-го лица ед.ч., совпадающую с номинативом, при маркированной форме аккузатива *mini*. Но само существование у данного местоимения такой формы, не различающей объектной и субъектной функций, гипотетично. Не может ли, скорее, эта надпись быть составлена не от лица вещи, подаренной неким Арантом Рамуте Вестрикина, а от лица самого Аранта, утверждающего: «Я, Арант, Рамуте Вестрикина подарил»? Выбор невозможен, пока не прояснится вопрос о выраженности или невыраженности лица в этрусском глаголе. Но если «говорящим» в надписи выступает даритель, а не подарок, значит, в этом предложении лишь один, именно косвенный объект, - а в этрусском предложении с единственным объектом, все равно, прямым или косвенным, как показала Б.Шульце-Тулин, тяготеют к схеме SOV [Schulze-Thulin 1993:180]. Выходит, для «говорящих» надписей с двумя объектами – «Меня такой-то сделал такому-то» - единственно засвидетельствованной в этрусском позиции косвенного объекта оказывается позиция *после* глагола.



Учтя также и другие разновидности этрусских надписей, кроме архаических «говорящих», Б.Шульце-Тулин формулирует общее правило: «Если из двух объектов один – местоимение, то это местоимение прочно стоит на первой позиции, а именной объект ставится в конце предложения, субъект же и глагол могут меняться местами» [Schulze-Thulin 1993:181]. Поскольку выраженный местоимением объект в известных этрусских памятниках всегда стоит в аккузативе, правило это легко конкретизируется в смысле нормального для подобных (двухобъектных) конструкций выноса имен в дативе (или в генетиве как падеже бенефицианта, что для этрусского возможно, например, при глаголе *tur-* «посвящать») в постпозицию к глаголу. Очень интересно дело обстоит с текстами венетов, примыкавших к этрусскому пространству с севера и воспринявших у этрусов жанр «говорящих надписей» [Agostiniani 1982:270]. Вообще-то, для венетского языка, по данным корпуса [Pellegrini-Prosdocimi 1967], характерно достаточно свободное размещение косвенного объекта в дативе относительно глагола: Es 47 *udan Fugia Urkleina Reitiai donasto* «*udan* Фугия Урклеина Рейтии подарила»; Ca 15 *Futtos Alisikos Trikikos toler [Tru]musijatei donom* «Футт Алисик Трикик преподнес (Тру)мусияту дар»; Ca 17 *Butijakos [...]kos donom Trumusijatei toler* «Бутияк ...дар Трумусияту преподнес»; Ca 65 *Trumusijatei toler Futtos Voltolarikos u donom* «Трумусияту принес Футт Волтарик в дар». Но в случае «говорящих надписей» мы сталкиваемся со схематичностью гораздо более жесткой, возможно обусловленной влиянием Этрурии.

Местоимение *meo* «меня», указывая на объект дарения, стандартно ставится, как и этрусское *mini*, в начале предложения. Однако же, в редких случаях, оно может перемещаться в самый конец (Es 72 *Malo M[...]nos donasto Reitiai meo* «Мало М...нос подарил Рейтии меня»), что для этрусского *mini* невозможно. Зато уж датив бенефицианта всегда, прямо по правилу Шульце-Тулин, располагается после глагола *doto*, *vhagsto* или *donasto* - непосредственно за ним или за субъектом, если тот с глаголом поменялся местами. Из приводимых Агостиньяни в его корпусе 18 посвященных «говорящих надписей» в честь венетской богини Рейтии, содержащих датив бенефицианта, во всех случаях выдерживается этот, как бы скопированный с этрусского порядок [Agostiniani 1982:233-236]. Некоторой оговорки требуют лишь случаи, когда в предложении оказываются налицо два датива бенефицианта – в одном стоит имя одаряемого божества, а в другом – имя человека, за которого приносится дар (конструкция, совершенно чуждая этрусскому). Тогда один датив может стоять в препозиции, другой – в постпозиции к глаголу (Es 57 *meo Reitiai donasto Fugiai Vantikenia* «Меня Рейтии подарила за Фугию Вантукения»). Но и это не обязательно: ср. Es 46 *meo doto Reitiai Bukka Koiliai* «Меня

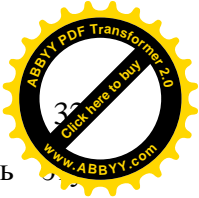


подарила Рейтии Букка за Койлию», где оба датива ставятся после глагола (буду разделены субъектом).

Итак, в свете сказанного синтаксические характеристики «надписи Мания» представляют интерес исключительный. В отношении ядровой части предложения, состоящей из субъекта, глагола и прямого объекта, надпись строго следует обычному латинскому порядку SOV, игнорируя (как в редчайших случаях и венетские надписи) этрусское правило выдвижения местоименного объекта на первую позицию в предложении. Зато периферийная часть синтаксической структуры, включающая выражение бенефицианта в дативе, выглядит так, как если бы она, подобно «говорящим надписям» венетов испытала прямое воздействие этрусского формуляра (позднейшую реминисценцию которого можно бы предположить даже и для синтаксиса «надписи Дуэноса»).

3. Манчини снова повторяет тривиальный тезис о том, что лат. (<этр.) Numerius можно спокойно объяснить через этр. Numesie, Numisi (Numisiie), Numisia, с их латинскими рефлексам в Numesius, Numisius (сюда же фалиск. Nomesina < этр. Numsina) – объяснить, совсем не обращаясь к Numasioi из «надписи Мания». Это правда. Но Манчини идет дальше, стараясь доказать, что такая передача этрусской основы Num-, как в Numasioi, для архаической латыни вообще была невозможна. При этом ученый ссылается на написание лат. Nomesi как эквивалент к умбр. Numesier(род.падеж) в одной архаической умбро-латинской билингве [Pocetti 1979: № 9]. Он уверяет, будто в ту эпоху латынь должна была передавать этр. Num- только через Nom- и что лат. Numerius возникло из *Nomesios в результате такого же развития, как в лат. umerus «плечо» <*omesos, др.-инд. amsa, греч. ὄμος то же. Формы же без ротацизма Numesius, Numisius пришли к римлянам в некую позднюю эпоху, когда в латыни якобы был возможен в начальной позиции лишь слог num-, а не nom-(вспоминается лат. Numidae «нумидийцы» < греч. νομάδες «кочевники»).

Наконец, наш автор просто отмахивается от размышлений К. де Симоне насчет судеб этрусского суффикса –si(e) : извлеченный этрусками из итал. –asyo-, он обрел в ономастике Этрурии новую продуктивность, сочетаясь с именными основами, кончающимися на разные гласные, которые способны чередоваться в оформлении одних и тех же корней. Так, по де Симоне, если мы при архаич. Helve в Цере V в. до н.э. имеем новоэтр. Helvasi (Клузий), Helvasia (Перузия), то отсюда выводится существование наряду с Helve старого, пусть незасвидетельствованного, варианта *Helva, которое так же соотносится с реальным Helvasi, как Helve соотносилось бы с ожидаемым на его базе. *Helvesi(e). Аналогичным образом архаическая этруская пара Nume (в Кампани): Numesie (в Тарквиниях) позволяет по такой же пропорции из архаич. Numusia (в Арреции)

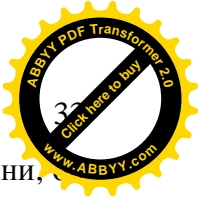


восстановить вариантную к Nume основу *Numu – и вполне подтвердить реконструкцию латинизированным родовым именем Numonius из Цере. А по этр. Numa (в Перузии) – можно дополнить Numisie и Numusie также и ожидаемым *Numasie, которое и находим в этрусскизированном Лации VII в. до н.э. – в «надписи Мания» на Пренестинской фибуле [de Simone 1991]. Манчини полностью игнорирует всю эту сеть пропорций как дурную спекуляцию. Для него главное, что этр.*Numasie как таковое нигде не засвидетельствовано. Имя же Numa в новоэтрусской Перузии вообще мог носить даже не этруск, а какой-нибудь италиец [Mancini 2004:14-18]..

Ответ. Доказать, что этрусской основе Num- с единственной в этрусском огубленной гласной фонемой заднего ряда в Лации VII в. до н.э. должно было соответствовать исключительно Nom-, а не Num- у Манчини не очень-то получается. Единственный его реальный довод – лат. архаич. Nomesi из латино-умбрской билингвы. Но еще за 13 лет до статьи Манчини К. де Симоне справедливо заметил, что эта форма, скорее всего, передает звучание умбр. Numesier с открытым огубленным гласным – и за прототип позднейшего лат. Numerius считать вряд ли вправе [de Simone 1991:211-212]. Все остальные рассуждения Манчини на этот предмет сугубо предположительны. А имеет ли доказательную силу тот факт, что в тестируемой на подлинность надписи с этрусской периферии вдруг появляется форма, которую по *системным соображениям* следовало бы ожидать для этрусского ономастикона, или данный факт никакой доказательной силы не имеет – это, думается, представляет вопрос методологической веры исследователя. Спорщикам, расходящимся в подобном вопросе, не остается ничего, кроме как «договориться о несогласии».²⁰

4. Переходя к графике «надписи Мания», Манчини вынужден заняться диграфом <vh> – этим крестом гвардуччианцев. Он сопоставляет отражения гласного [u] и лабиальных спирантов, с одной стороны, - в этой надписи, а с другой – в ряде латинских (понимая этот термин как в языковом, так и в ареальном смысле) архаических текстов VII-V вв. до н.э. В конце концов, перед фактами передачи [f] через <vh> (конкретно – через <Fh>) в

²⁰ Я не разбираю здесь подробно идеи В.Беларди и Г.Рикса насчет того, что этр. Numesie, как лат. Numerius, Numesius, умбр. Numesier, оск. Nium(p)sis якобы независимо друг от друга входят к «старосабельской» форме *Nomes-jos от основы на -s *nomes «надел» представленной в лат. numerus <*nomeso- «соразмерность, число, счет», ср. греч. νέμω «распределять» и т.д. При этом итал. Numa, этр. Nume, Numa рассматриваются как Kurzformen от того же *Nomesjos, а в этр. Numusie, Numisie Рикс предлагает видеть редукцию этрусских гласных в срединном слоге и нейтрализацию вокальных различий (что кажется явлением слишком ранним для архаической эпохи, к которой относятся эти формы, в частности Numisie конца VI в. до н.э.) [Belardi 1980:343-351; Rix 1995:275-276]. По-видимому, имена этой группы, действительно, содержат индоевропейскую основу *nom-, представленную, в частности, и в таких неэтрских италийских формах, как Numicius или Numitor. Тем не менее трудно отрицать, что в некую эпоху Этрурии становится важнейшим ареалом распространения имен от этой основы с расширением на -si(e)< итал. -syo-. И в этом ареале и в соседних областях, подверженных этрусскому влиянию, основы вида *NumV-: *NumVsie/*NumVasio- вполне выстраиваются по сетке новообразовательных моделей-пропорций, выписываемой де Симоне.

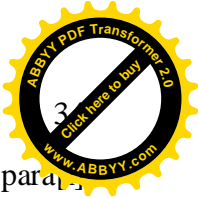


латинской надписи на пифосе из Цере и через <hv> на «герникском» сосуде из Анагни, скороговоркой признает: да, дескать, использование диграфа в «надписи Мания» «конгруэнтно» приемам алфавитного письма, бытовавшим в преисторическом Лации и в архаической Этрурии [Mancini, 2004:20].

Ответ. Мы решительно не в состоянии мельком пройти мимо этого признания Манчини – как бы нашему автору того ни хотелось. Ведь диграф <vh> в исходе латинской надписи из Цере, опубликованной М.Паллоттино еще в начале 1950-х, впервые выделил в 1963 г. Э.Перуцци, воссоздав в этой испорченной части текста весьма правдоподобный ряд словоформ *matar[cos.....m]ed vhe[ked]* [Peruzzi 1963:89-92]. В отличие от авантюрных предложений того же ученого относительно фалисской надписи из Чивита Кастеллана, его чтение текста из Цере выглядело весьма надежно, войдя, например, в латинский раздел корпуса «говорящих надписей» Агостиньяни [Agostiniani 1982:149]. Что касается «герникской» вазы из Анагни с ее буквицей [...] *matas udmom ni hvidas ni kait[...]*, где *ni hvidas*, возможно, = лат. *nē findās* «не расколи, не разбей», то первые посвященные ей публикации появились в начале 1990-х, см.[Gatti-Colonna 1993:320-325]. Получается, «гельбиговская фальшивка» 1887 г. оказалась «конгруэнтна» своими эпиграфическими приемами текстам, найденным и прочитанным во второй половине и в конце XX в.! При этом «надпись Дуэноса», под репертуар которой гвардуччианцы стараются подверстать текст, язык и письмо «надписи Мания», оказывается совершенно в стороне от этой «конгруэнтности» со своим отражением [f] через <F> и отсутствием каких-либо намеков на внутрисловесную интерпункцию.

После такого признания Манчини немного стоят его размышления о природе колебаний и исправлений резчика-фальшивщика при процарапывании сегмента <Fhaked>, мол, не хотел ли он сперва написать <Feked> или даже <Faked> [Mancini 2004:22]. Помнится, Хэмп, фантазируя насчет влияния на автора нашей надписи со стороны еще не найденного фалисского текста из Чивита Кастеллана, где встречается словоформа *f[if]iqod* «вылепили», готов был увидеть в том же <Fhaked> даже переделку из <Fiked> [Hamp 1981:152]. . Ясно одно: Манчини не только не опроверг «аргумента от диграфа», но, сам того не желая, этот аргумент усилил – и усилил очень значительно, укоренив «надпись Мания» в контексте латинских памятников VII-VIв. до н.э. Прямо по-библейски у него вышло: желая проклясть – благословил!

5. Зато, обратясь к упомянутой фалисской надписи с ее разбиением *re:para[i]*, Манчини, казалось бы, сумел убрать с поприща гвардуччианцев мешавший им камень. Не пытаюсь ни передатировать находку фалисского сосуда, как Хэмп, ни пересмотреть словесное разбиение текста, подобно Перуцци, он всего лишь силится развеять чары Пренестинской



фибулы и «надписи Мания», якобы внушившие ученым ложное представление о ре:para[...], как о непременно глагольной форме. Он предлагает конструкцию arcentelomhuti cilom:re:para[i..]douiad трактовать как изоморфную к praviosurnam:sociaipordedkarai с тем же самым субъектом – Правием, а parai как датив от para «пара, спутница, подруга», синонима к socia, родственного лат. par, paris. В целом у него выходит что-то вроде: «Правий урну подруге подал дорогой. Я – урnochка, вылепленная...(fita<ficta)...Пусть сосуд серебряный даст для подруги» [Mancini 2004:21].

Ответ. Манчини предложил такое понимание надписи из Чивита Кастеллана, которому, по-видимому, суждена успешная конкуренция с версией сейчас нам привычной. Оспорить ни ту, ни другую пока невозможно. В частности, возведение фалиск. re к предлогу или наречной частице per поддерживается известными фалискскими написаниями mate<*mater и uxo вместо uxog и наряду с последней формой [Giacomelli 1963:251,259]. Обсуждая сегмент <vhe:vhaked>, сторонникам подлинности «надписи Мания» следовало бы оставить возможный параллелизм с фалискским <re:para[i]> в боевом резерве, пока же сделать основной упор на причастность написания с Пренестинской фибулы многовековой италийской традиции письма с внутрисловесной «грамматической» интерпункцией.

6. В заключение Манчини фронтально сопоставляет 12 графем надписи на фибуле с их же реализацией по 35 архаическим латинским, италийским и этрусским памятникам. Его выводы: среди этих памятников «надпись Мания» якобы беспрецедентна своей *альфой* со строго горизонтальной поперечной чертой и своей *хет*, где горизонтальная черта пересекает обе вертикальные. *Мю* и *инсилон* напоминают графемы «надписи Дуэноса» (что на прорисовке Манчини не очень-то заметно), *канна* своими косыми чертами, сходящимися в одной точке, будто бы тоже уникальна, и вообще перед <e> должно бы стоять по нормам архаического письма не <k>, а <c>.

Ответ. Что касается последнего соображения, замечу, что в этрусских надписях VII в. до н.э. свободно чередуются написания muluvanice – muluvanike – muluvaneke [ThLE 1978:251-252]. Сама Гвардуччи, с ее неутомимым пафосом заподозривания и изобличения всего, что можно заподозрить и изобличить в «надписи Мания», тем не менее решилась указать на аналоги к *альфе* и *канне* из этой надписи в архаических этрусских алфавитах VIII в. до н.э. из Марсилины и Формелло, что, впрочем, не мешало ей сравнивать *канну* на фибуле, также и с <k> немецкого курсива времен жизни Гельбига. *Инсилон* «надписи Мания» ей также казался сомнительным, причем она сближала его сразу и с <V> в рукописях Гельбига и с той же буквой в «надписи Дуэноса». Но последней надписи уж Гельбигу нипочем не приписать! Зато *мю* с фибулы нисколько ее не насторожило, не в



пример Манчини [Guarducci 1980:446-447, 535]. Здесь слишком много произвола в предположениях, чтобы вдаваться в серьезный спор. А главное, если мы склоняемся к тому, чтобы принять результаты микроструктурного анализа Г.Девото, то вопросы о грубости или неуверенности резчика при процарапывании тех или иных букв, о колебаниях и поправках, о *хет* с перечеркнутыми вертикальными линиями (этом «маленьком чудовище», говоря словами Гвардуччи) утрачивают для нас большую часть своей значимости. Если материя изделия подложна, особенности дуктуса также неоспоримо принадлежат к сфере подделки, в лучшем случае – имитации. Но такая обесценка вовсе не обязана коснуться воплощенного в дуктусе текста как последовательности образующих сообщение языковых единиц. Того текста, который диграфом <vh> и словопорядком «говорящей надписи» оказывается «конгруэнтен» миру этрусскизированного Лация начала VII в. до н.э.; который перфектной редупликацией корня [fak-] включает латинскую ветвь италийских языков в проходящую по иным ветвям этой семьи общую инновацию; который трюеточием между этим удвоением и корнем вписывается в италийскую практику грамматического членения слов на письме – так сказать, практику «артикулированной» записи. Текста, который во времени становится все «конгруэнтнее» новым, прибывающим фактам и складывающейся из них картине.

III

Вслед за Гордоном и Просдочими Манчини повторяет призыв Шерлока Холмса: «отсесть все невозможное и принять то, что осталось за правду, каким бы оно невероятным ни показалось» [Mancini 2004:3]. Беда, однако, в том, что гвардуччианцы не решаются в своем анализе отсесть все действительно невозможное – или даже задуматься об отсечении практически невозможного, как в случае с образом фальсификатора, открывающего истинную значимость этрусского диграфа.

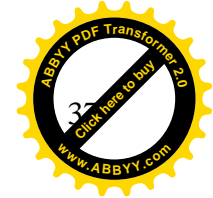
Если слухи о подделке фибулы как артефакта вполне подтвердились ее обследованием под микроскопом Г.Девото, то надпись на этом артефакте содержит моменты убедительной подлинности – и этими моментами поднимаются до ранга открытий 1887 года и иные детали, которые иначе можно было бы спокойно отнести к изобретениям поддельщика. Возникает вопрос: преодолимо ли это зияющее противоречие? Гвардуччи твердо умозаключала от подделки вещи к сфабрикованности надписи, Радке и Виакер – от аутентичности надписи к недостоверности микроструктурного анализа. Обе стороны с недоумением отвергали высказанную еще в 1974 г. Крумреем в письме к Гордону мысль о возможности воспроизведения подлинного



текста на фальшивой вещи²¹ - мысль, однако же, принятую всерьез такими авторами как Дж. Колонна, К. Трюмпи, Р. Вахтер [Truempy 1983; Wachter 1987:56]; (мнение Дж. Колонны см.: [Guarducci 1984:172]) А я бы не решился исключить даже и то, что разрыв между характеристиками вещи и надписи может корениться в другом, временном разрыве – между январем 1887 г., когда некую фибулу впервые представили научному миру, и июнем 1889 г., когда наличная (поддельная) фибула была помещена на хранение в Музей Вилла Джулия. В обоих случаях надпись на фибуле была одна и та же. Но было ли во втором случае тем же самым изделие? Ни Гвардуччи со сторонниками, ни их оппоненты даже не обсуждали той версии, что изготовление фибулы-подделки могло состояться именно в указанном временном интервале, а вовсе не перед первой презентацией. А ведь допустив эту возможность, пришлось бы полностью пересмотреть все высказывавшиеся соображения о мотивах фальсификаторов, коль скоро Гельбиг в 1887 г. мог демонстрировать коллегам подлинную вещь с древней надписью, а в 1889 г. музей получил копию изделия, оригинал которого либо скрылся в тайниках Маринетти, либо был продан кому-то на теневом рынке антикварных редкостей. Тогда к тексту на фибуле Маринетти пришлось бы относиться примерно так же, как к известной этеокипрско-греческой билингве из Аमतонта, пропавшей во время Первой мировой войны и изучаемой по предвоенной публикации Э. Зиттига и по его позднейшим воспоминаниям [Masson 1961:206-209]. Если Девото не ошибся, мысль о наличной фибуле как о копии пропавшего оригинала оказывалась бы чуть ли не единственной гипотезой, согласующейся со **всеми** рассмотренными фактами, без натяжек и изъятий.

В «деле о Пренестинской фибуле» «путь Шерлока Холмса», на который нас зовут гвардуччианцы, будучи пройден до конца, способен привести к принципиальному дуализму, различающему истину текста от фальши его имитационного воплощения.

²¹ Гордон цитировал слова Крумрея: «Eine andere Moeglichkeit waere dass der Wortlaut der Inschrift echt ist, jedoch das Original verloren ging und das uns verhaltene Exemplar eine Nachahmung darstellt» [Gordon 1975:161].



Дополнение.

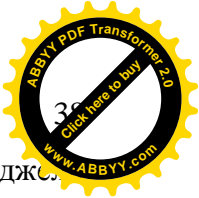
Мессапская параллель к ситуации Пренестинской фибулы (на фоне мессапо-тохарской изоглоссы).

Р.Вахтер в своем труде об архаических латинских надписях, касаясь предположения насчет «надписи Манья» как копии с утраченного оригинала, привел ряд случаев из практики европейских музеев, когда явно одни и те же надписи объявляются в разных местах в результате чьих-либо имитаторских перерисовок на поддельных антиках – или даже на настоящих древних предметах из раскопок [Wachter 1987:56]. А я бы хотел здесь напомнить еще один случай такого же рода, только еще более яркий, чем перечисляемые Вахтером, - так как он имеет касательство к одному значительному открытию в италистике конца XX в.

Я имею в виду мессапскую надпись Ψ aroas по [IM 16.18 в корпусе О.Парланджели] на ручке амфоры из музея г. Лечче (фотографии сосуда в различных ракурсах см. [Bernardini 1959:293-294]). Предположительно происходящая из античных Рудий (Rudiae, итал. Ruggè), амфора поступила в музей в начале 1879г., а надпись была опубликована в 1881г. [Bernardini 1959:296,299; Parlangei 1960:158-159].

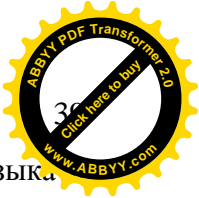
Нагляднейшая примета мессапского алфавита, присутствующая в этой надписи – конечно же, графема < Ψ >, спорадически используемая – практически всегда в начале слова – вместо <t> и < θ >, ср. написания вроде Ψ aotoras, Ψ aotori вместо θ aotoras,-i или Ψ abara, Ψ abaroas взамен tabara, -(v)as [Krahe 156:16,22; Parlangei 1960:361,371; Parlangei-Santoro 1978:928; Santoro 1986:343, 349, 361, 363; Santoro 1991:408,413]. Форма Ψ aroas однозначно истолковывается как родительный падеж Taroas (*Taru(v)as) женского имени Taroa, варианта к *Tara, в мужском роде *Taras, откуда мессапский патроним Tarides и латинское женское имя Taridia из мессапского Брундизия [de Simone 1963:104; de Simone 1987:137]. Исход на -oa<*-u(v)a, в том числе как расширительный вариант основ на-a, -(i)a встречается во множестве мессапских форм – среди них видим топонимы (Ardannoa, Reššorišoa, Trigonošoa и т.д.), женские личные имена (Dalma θ oa, Kebeirišoa, Et θ etoa), теонимы (род.падеж Divanovas при Divana = лат. Diana), теофорные эпитеты (Damatri(o)vas «Деметриной» от Damatria «Деметрина», Aproditiovas «Афродитиной»), апеллативы (bilìa, вар. biliva «дочь», род.падеж bili(o)vas, tabara «жрица»: род. падеж tabaras или tabaro(v)as [Rix 1966:239-252; de Simone 1978:233,234; de Simone 1992:18-19].

Самое же интересное в надписи на амфоре из Лечче – это, несомненно, конечный элемент по, ставший в 1980-х предметом увлекательных разработок К. де Симоне, а также спора между этим ученым и А.Просдочими [de Simone 1987; Prosdocimi 1988]. К середине



указанного десятилетия, после выхода дополнений Дж.Санторо к корпусу О.Парланджели [Santoro 1982; Santoro 1983; Santoro 1984], серия известных мессапских надписей с данным элементом уже насчитывала до 10 текстов. По спискам, приводимым в статьях де Симоне и Просдочими, в нее неоспоримо входили: 1) Balašihī no (надпись на столбе из Каваллы – конец VI - первая половина V в. до н.э.); 2) Baołihī no Libataos (стела из Нардо, конец VI - начало V в.до н.э.); 3) Vastihonanno< *Vastihonas no (Ория, сосуд-килик V, или, по Просдочими, IV в. до н.э.); 4) Sailonna Lomiaihī no (Алецио, надгробье второй половины V в.до н.э.); 5) Damikihi no naimo (либо Naimo, в зависимости от того, видеть ли здесь апеллатив или личное имя; сосуд-скифос из Челье, второй половины V в.до н.э.); 6) Baoštas Stinkaletos biliovas no (Алецио, надгробье первой половины IV в.до н.э.); 7) наша надпись из Рудий (Рудие) Ųaraoas no, судя по характеру письма – первая половина IV в.до н.э.); 8) Laparedonas no (надгробье из Алеции, III в.до н.э.); 9) Ųeotoras Artahiaihī Benarrihī no (надгробье из Остуни, III-II вв.до н.э.). Проблематично было и остается членение могильной надписи III в. до н.э. из Ории tabar[o(v)a] no la[...] (или nolā[...]). И, наконец, Просдочими относил к той же серии надпись из Челье Spiloonno, якобы отражающую (с ассимиляцией) генетив основы на дифтонг *Spiloos no < *Spiloaos no, тогда как де Симоне видел в этой буквице просто номинатив основы на -n (*Spilonno, -onas) [de Simone 1987:137; Prosdocimi 1988:198].

Надо сказать, что и до 1980-х мессапские памятники с элементом no были предметом различных догадок и истолкований. Еще в начале 60-х гг., когда их было известно всего лишь пять (надписи 4,6,7,9 из приведенного списка и сомнительная Spiloonno) могло возникать впечатление, будто с предшествующим генетивом личного имени no способно образовывать законченное высказывание в виде надписи на сосуде, то есть потенциально надписи изготовителя или дарителя. Между тем, эпитафии 4,6 и 9 могли быть истолкованы таким образом, как если бы в них за начальным именем усопшего в именительном или родительном падежах (Šailonna, Baoštas Stinkaletos, Ųeotoras Artahiaihī) следовала дополнительно конструкция «имя в генетиве +no» (Lomiaihī no, biliovas no, Benarrihī no). Такая картина, извлеченная из крайне ограниченного материала, дала основание В.Шмиду в 1960г. истолковать no как послелог с отложительной семантикой и соотнести этот элемент с литовским и латышским предлогом nuo «от», в том числе в конструкциях вроде латышской davana nuo...«подарок от такого-то». В надгробных же мессапских текстах оборот с no, по Шмиду, якобы указывал на строителя гробницы или памятника [Schmid 1960:26-30]. Первоначальный успех этой интерпретации был велик: Парланджели писал о «geniale proposta dello Schmid» [Parlangeli 1960:341], а де Симоне в



1962г. причислял мессапское по «от» к немногочисленным словам этого языка достоверно установленным значением [de Simone 1962:124].

Но эта, блистательная на первый взгляд, версия утратила свою убедительность после новых находок, показавших, в частности, что конструкция «имя в генетиве +по» может составлять законченную эпитафию (Laparedonas по). А ведь совершенно невероятно, чтобы в текстах такого рода могло указываться имя воздвигшего гробницу – однако начисто отсутствовать имя самого погребенного! Отмечая, что в эпитафиях из Алецио свободно чередуются простейшая конструкция Laparedonas «Лапаредона (могила)» и Laparedonas по, а значит, зависимость генетива от по в таких случаях, вопреки Шмиду, необязательна, де Симоне идет дальше. Он предполагает, по праву, что в синтагме Šailonna Lomiaihi по последнее слово – такой же факультативный элемент, вовсе не управляющий предыдущим именем, а в целом словосочетание несет ту же информацию, что обычные для мессапских надгробий ономастические двучлены вроде Dalmaθoa Dalmaihi «Далматоа (дочь) Далмаса». Иначе говоря, в по распознается элемент с предикативной функцией, способный выражать как идентичность (то, что здесь пребывающая - Шайлонна, дочь Ломия), так и принадлежность (то, что могила – Лапаредона, или Теотора, сына Артая Бенария, или Баошты, дочери Стинкалета) [de Simone 1987:138-139].

Таким образом, де Симоне возвращается к высказанной еще в 1930-х А.фон Блументалем, а позднее развитой М.Дуранте мысли о мессапском по как об элементе, способном играть такую же роль, что лат. sum «я есмь» в оформлении так называемых «говорящих надписей» [Durante 1954].

Как известно, по преобладающему синтаксическому типу таких надписей, способных изъясняться от имени не только человека – дарителя, изготовителя артефакта или усопшего, - но и от лица предмета (подарка, погребения и т.п.), древняя Италия разделяется на две большие подобласти, в зависимости от того влияния, этрусского или непосредственно греческого, которое было господствующим в том или ином этноязыковом регионе. На севере, под воздействием этрусского типа «говорящей надписи» с местоимением mi «я» и без глагола-связки (ср., например, CIE 4921 mi mamarces tarxvelnas «я – Мамарка Тархвелны») возникают венетские структуры вроде Es 4 eqo voltiomnoi iuvantioi «я – (для) Волтиомна Ювантия». А на юге конструкция греческой «говорящей надписи» с глаголом-связкой εἰμι (έμι) «я есмь»²² находит преломление в оскском

²² См. приводимые де Симоне надписи конца VIII-VI вв. до н.э. Tатаιῆς ἔμι ληρῦθος «есмь лекиф Татаи (Кимы Халкидские), Αμῆς ἔμι «есмь Амы» (Исхия), Αγασια ἔμι το σαα το Καρια «Агасия есмь погребение (сына) Кария» (Силинунт) [de Simone 1957, 139-140]. Здесь можно вспомнить еще знаменитый «кубок

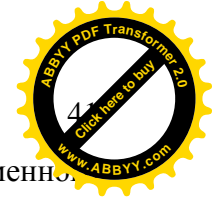


формуляре (Ve 117 *lucvies snaiviies sum* «есмь Лукия Гнайвия»; Ve 63 *sepieis heleviieis sa* «есмь Сепия Хелевия»; Ve 127 *vipieis venleis culchna sim* «Вибия Венле килик есмь») и элимском (надпись на монетах элимского города Сегесты $\sigma\epsilon\upsilon\epsilon\sigma\tau\alpha\zeta\iota\beta$ $\epsilon\mu\iota$ «(для) сегестанцев есмь»). Латино-фалисская коренная область обретается на стыке этих двух эпиграфических пространств, демонстрируя в веках переход от типа *eko kaisiosio* и *eco urna tita vendias* (конца VII-VI вв. до н.э.) к позднейшим формулам вида *speri sum* или *sum valeri* в начертаниях III-II вв. до н.э. из Эсквилинского некрополя (богатейший обзор материала с тщательным комментарием см [Agostiniani 1982]).

Мессапский край в этом раскладе представлял определенную проблему: территориально он должен бы принадлежать к подобласти «говорящих надписей» с глаголом-связкой, но единственная долгое время известная «говорящая надпись» этого края – $\Delta\alpha\sigma\tau\alpha\varsigma$ $\eta\mu\iota$ на сосуде из Рутильяно – всегда внушала сомнения в отношении своей языковой атрибуции – мессапской, греческой или некой гибридной [Krahe 1956:36-37; Agostiniani 1982:164]. Де Симоне решительно считает ее за греческую или грецизированную, полагая в ней эквивалент конструкции, которая по-мессапски имела бы вид **Daštas* по «есмь Дазета» или «есмь Дашты» (муж. род *Dazet*, жен. род *Dašta*). Таким образом, по расценивается им, как некогда у Дуранте, на правах формы предикативной связки 1-го лица единственного числа в мессапском.

Разъясняя подобную форму этимологически, де Симоне обращается к тохарским языкам, где в тохарском А глагол «быть» в настоящем времени получал следующий ряд форм – 1-е ед. числа *nasam*, 2-е л. *našt*, 3-е л. *naš* (может заменяться частицей *naṃ*), 1-е л. множ. числа *nasamäs*, 3-е л. *nenc*, а в тохарском В – соответственно в единственном числе *nesau*, *nest*, *nesäm*, во множественном *nesem*, *nescer*, *nesäm* [Krause 1952:255; Krause-Thomas 1960:198]. В XX в. были попытки связать тох.А *nas-* и тох.В *nes-* с индоевропейской основой, представленной в др.-инд. *nasate* «присоединяюсь к кому-либо», др.-инд., авест. *asta<*ṛsto-* «родина, местожительство», греч. $\nu\acute{\epsilon}\omicron\mu\alpha\iota$ «возвращаюсь», $\nu\acute{\omicron}\sigma\tau\omicron\varsigma$ «возвращение», гот. *ganisan* «спасаться», *našjan* «спасать», др.-в.-нем. *ginesan* «пребывать в живых», др.-исл. *nest* «пропитание в дорогу», тох.А *našu* «друг» - по-видимому, обозначавшей «совместность», «совместное с кем-либо пребывание», а заодно «восстановление такой совместности» [Pokorny 1959:766-767]. Однако форма 3-го лица плюралиса в тохарском А, где не видно следа *-s-* - *nenc* <**ne-nti*, а кроме того заменяющая *naš* в сингулярисе частица *naṃ* с таким же оформлением, как в номинативе местоимений *säm*, *säm*, *täm*, придают большую убедительность догадке о возникновении

Нестора» из Питекус с его начальным пассажем $\text{N}\acute{\epsilon}\sigma\tau\omicron\varsigma$: $\bar{\epsilon}[\mu]i$: $\epsilon\dot{\upsilon}\lambda\omicron\tau[ov]$: $\lambda\omicron\tau\acute{\epsilon}\rho\iota\omicron\nu$ [Зайцев 1987; Heubeck 1979: 113-115].



глагола бытия *nōs- в языке-предке тохарских языков из соединения местоименного элемента *no с и.-е. *es- (H₁es-) «быть». Эта версия хорошо объясняет образование 3-го лица связки в тохарском А при помощи того же местоимения в чистом виде, к тому же способного к себе присоединять глагольное личное окончание, то есть выступать спрягаемой предикативной частицей [Bader 1976:31].²³

По мысли де Симоне, мессапский предикативный элемент по «есмь» также не обнаруживает в своей основе и.-е. *(H)es-/ *(H)s- и должен рассматриваться по примеру тох.А nāṃ как местоимение в функции связки. К сожалению, здесь у де Симоне начинаются затруднения и неясности. Ведь вообще-то <o> в мессапском должно бы отражать этимологическую долгую гласную [ō], поскольку индоевропейское *ō в этом языке дает [a], как показывает мессапское тематическое склонение. Де Симоне не верит, будто в мессапском по могло бы прямо втянуться в глагольное спряжение, получив окончание 1-го лица единственного числа nō. Пройгнорировав пример тох. А neps <*nenti, он то ищет особых причин сохранения тембра [ō] – моносиллабизм, соседство с назальным, то ссылается на продленную аблаутную ступень и т.д., а в плане семантики, апеллирует к тохарскому местоимению 1-го лица единственного числа – тох.А nāṣ, тох.В nāś – структура и генезис которого довольно-таки непрозрачны [de Simone 1987:144]. Тем самым ученый значительно ослабляет свои выводы, а ведь neps «вот (они) суть», как пример спрягаемой частицы был бы весьма заманчив для объяснения nō «вот (я) есмь».

Возможно ли другое решение? Как известно, в ряде случаев мессапский, подобно греческому, обнаруживает переход анлаутного и интервокального [s] в [h], - ср., мес. hadive «установил» при гот. satjan «усаживать», др.-прусс. saddinna «ставить»; мес. hipades «он поставил» < и.-е. *supo-dheH₁s-(t), ср. греч. ὄπoтίθημι «подставлять», «давать в залог»; мес. klaohi, klohi «внемли» или «пусть внемлет» в официальных текстах в сочетании с именами Зевса и Венеры, - словоформа, сопоставляема либо с ведийским императивом śroṣi «слушай», либо с оптативом тох.В klyauṣi «пусть слушает» [Milewski 1965:209, 214].²⁴ Такой же переход в мессапском показывают и некоторые

²³ Де Симоне, несомненно, заблуждался, полагая, будто огласовка тох.А nas- и тох.В nes- может восходить также и к долготу [ō]. Достоверный рефлекс этого звука представляют тох.А sam «тот же самый», тох.В sām то же из и.-е. *sōmo-, слав. *samъ и тох.А āknats «невежда», тох. В aknātsa то же при греч. ἄγνωος, ὄμοος «неведомый», «незнающий», лат. ignōtus «неизвестный», редко «несведущий» (Указано мне И.Б.Иткиным и С.А.Бурлак). В тохарском *no-s- не обнаруживается рефлекса того ларингала, след которого виден в хетт. ašanzi «они суть» из и.-е. *Hsonti., др.-инд. santi. Тем самым подтверждается мнение о том, что этот ларингал как фонема был уже устранен «в период, непосредственно предшествующий распаду праязыка на древнейшие исторически известные диалектные группы» [Иванов 1981:94].

²⁴ Я здесь не касаюсь известного спора насчет возможности видеть за окончанием генетива мессапских тематических имен -aihi/-aihe праформу *-oiso, метатетический вариант к и.-е. *-osyo, известный по лепонтийскому (Xosioiso) и венецкому (Kaialoiso) языкам [Gusmani 1976; Prodocimi 1989; Prodocimi 1990; de Simone 1992]. На сегодня едва ли не единственный факт, способный противоречить правилу перехода -s-



древнебалканские ономастические основы, например, иллир. Trosius, Trosia, да и Троσαντιος на монете из апулийской Салапии, мессап. Trohanthes, род.падеж Trohanthi [Mayer 1957:345; Parlangei 1960:367; Гиндин 1981:152-153]. Ф.Бадер пыталась возвести 1-го лицо ед. числа глагола «быть» в тохарском В nesau к *no-(H)s-oH₂O, выводя из *-oH₂O также общеиндоевропейский показатель того же лица и числа -ō, а из варианта той же флексии такие формы со значением «я был», как лув. ašha, греч. ἄα [Bader 1976:27,94,102,111]. Точное мессапское соответствие к восстанавливаемой Бадер праформе для nesau должно было бы иметь вид *naho. И хотя мессапский знает как выпадение интервокального [h] (Trohanthes ~ Troanthes), так и стяжение -ao-> -o- (klaohi>klohi, Θaotor>Θotor), однако у нас нет никаких доказательств того, чтобы связка по могла восходить к naho. Версия со связкой, втянутой в спряжение, как в тохарском А, выглядит гораздо более правдоподобной.²⁵

С этой оговоркой исследование де Симоне, посвященное мессапским конструкциям с по, должно быть причислено, как я уже говорил, к крупнейшим достижениям италийского языкознания наших дней. Гораздо менее убедительной представляется альтернативная гипотеза Просдочими, признавшего за по функцию предикатива, но сомневавшегося в трактовке данного типа памятников как «говорящих надписей» и предпочитавшего усматривать в по функциональный аналог греч. τόδε «вот это», а этимологически – продолжение вводной и контрастивной индоевропейской частицы *nū. Во всяком случае, он не смог привести ни одного достоверного примера из других языков, когда бы эта частица брала на себя такую роль как по в мессапском.

А вот теперь мы достигли момента самого важного с точки зрения сюжета этой заметки. Уже говорилось, что в середине XX в. лингвисты располагали лишь пятью мессапскими надписями с по–предикативом, а к концу его эта серия увеличилась примерно вдвое. Еще показательнее, что за столетие она выросла более, чем в три раза, потому что

> -h- в мессапском – это глагольная форма 3-го лица единственного числа kroseti, обозначающая в надписи IM 7.26 из Челье некий ущерб, который кто-либо способен причинить гробнице (...ai min kos kroseti...). Проблема возникает, если сблизать эту форму, как в 1950-х предлагал О.Хаас, с гнездом греч. κρούω «ударяю», аор. пасс. ἐκρούσθη, лит. krūšti, слав. *krъšiti и krušiti [Parlangei 1960:91, 327]. Однако этимология и, главное, морфологическая структура месс. kroseti небесспорны.

²⁵ Благодаря известной глоссе Гесихия τὶ δότορε :τὶ ποιεῖτε. Ταραντίνοι; «что делаете?» - по-тарантински», где до̀тоρε представляет некую туземную негреческую – скорее всего, мессапскую – форму, можно было бы предложить еще одно интересное морфологическое сравнение между этими отдаленнейшими в историческое время языками. «Тарантинское» - то̀ре как исход глагола во 2-м лице множественного числа (~греч. ποιεῖτε) перекликается с тох.В -сег в той же самой функции (nescer «вы есть», klyaušcer «вы слышите» и т.д.) при -с<*-te в тох.А (ср.тох.А kārsnāc «вы знаете»: тох.В kārsnacer то же). По мнению С.А.Бурлак (высказанному в беседе со мной), тох.В -сег с его палатализацией могло бы объясняться взаимодействием между двумя вариантами окончаний 2-го лица плюралиса – между -ter < *-tor (V) и отразившимся в тох.А -с<*-te. Таким образом «тарантинское» окончание обнаруживает едва ли не эксклюзивное соответствие к одному из этих окончаний – причем к характерному именно для тохарского, выделяющему тохарский среди индоевропейских языков.



на конец XIX в. таких надписей было известно лишь три: это были памятники 6 и 9 приведенного выше перечня, которые учел еще Т.Моммзен, готовя в 1848 г. первое издание мессапских текстов – см. [Parlangeli 1960 :56,207] – и затем надпись Ψaroas по на амфоре из музея г.Лечче, открытая, как уже говорилось, на рубеже 1870-х и 80-х. Так вот, в 1959 г. искусствовед М.Бернардини поместил на страницах “Studi Sallentini” статью, где документально доказал, опираясь на архивные документы юриста XIX в. Л. де Симоне (однофамилец лингвиста – нашего современника), состоявшего в 1880-х членом местной Комиссии по сохранению памятников в Рудже и Лечче: слова на амфоре были перед продажей сосуда в 1879 г. в музей прорисованы ремесленником по имени Санто Перроне, который в те годы активно занимался подобным промыслом и, в частности, сфальсифицировал еще некоторые изделия для того же музея [Bernardini 1959:296]. По замечанию Бернардини, «этот вид подделок, пожалуй, брал начало в копировании надписей, легко разрушающихся...или по другим причинам не поддающихся транспортировке».

Для меня здесь существенно одно. Совершенно независимо от того, чья рука чертила в 1878 или 1879 г. буквы на ручке амфоры, морфология и синтаксис читаемого на ней законченного крошечного текста, осмысленные лингвистикой лишь спустя многие десятилетия и вписавшиеся во все растущую серию находок, которые выявили одну из оригинальных черт мессапского языка, - делают надпись настоящим мессапским памятником, предвосхитившим открывшиеся во множестве во второй половине XX в. микроконтексты с семантикой принадлежности типа «одночленное имя в генетиве +no» (Balašihī no, Laparedonas no, Vastihonanno). Он по праву включен в каталоги Парланджели и де Симоне на правах копии с неизвестного и нам недоступного подлинника, перенесенной на амфору, вероятно, для придания ей дополнительной ценности при продаже [Parlangeli 1960:158; de Simone 1963:67]. Выходит, чего поддельщик добивался – того он и впрямь добился!

Замечательно сходство этого эпизода с восстанавливаемой историей «надписи Манья» на Пренестинской фибуле, даже в такой детали, как присутствие на сосуде ономастической формы (Ψaroas от *Tara, -uva), не зафиксированной в иных источниках, но подсказываемой косвенными указаниями (мессап. Tarides, лат. Taridia) и системными соображениями. Надо сделать лишь одну оговорку: в отличие от амфоры из музея в Лечче, наивно «изукрашенной» корыстолюбивым Санто Перроне, прорись на фибуле, похоже, делалась под присмотром, или даже при участии, одного из крупнейших



профессионалов-антиковедов той эпохи. Не отсюда ли, помимо прочего, различия в судьбах этих начертаний?²⁶

Л и т е р а т у р а

Барроу 1976 = Б а р р о у Т. Санскрит. М., 1976.

Бенвенист 1974 = Б е н в е н и с т Э. Общая лингвистика. М., 1974.

Бенвенист 1995 = Б е н в е н и с т Э. Словарь индоевропейских социальных терминов. М., 1995.

Бурлак 2000 = Б у р л а к С.А. Историческая фонетика тохарских языков. М., 2000.

Гиндин 1981 = Г и н д и н Л.А. Древнейшая ономастика Восточных Балкан. София 1981.

Дыбо 1981 = Д ы б о В.А. Славянская акцентология. М., 1981.

Зайцев 1987 = З а й ц е в А.И. Лексико-стилистические особенности надписи на «кубке Нестора» из Питикус // *Philologia classica*. Вып.3. Язык и стиль памятников античной литературы. Л., 1987.

Иванов 1981 = И в а н о в Вяч. Вс. Славянский, балтийский и раннебалканский глагол: индоевропейские истоки. М., 1981.

Нидерман 1949 = Н и д е р м а н М. Историческая фонетика латинского языка. М., 1949.

Топоров 1988 = Т о п о р о в В.Н. Комментарий к буддолгическим исследованиям Ф.И. Щербатского // см. Щербатский 1988.

Тронский 1953 = Т р о н с к и й И.М. Очерки из истории латинского языка. М.-Л. 1953.

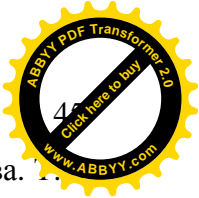
Тронский 2001 = Т р о н с к и й И.М. Историческая грамматика латинского языка. М., 2001.

Ходорковская 1978 = Х о д о р к о в с к а я Б.Б. Система интерпункции в древнеиталийской письменности и связь ее с геминацией согласных // *Acta antiqua*, 26, 1978.

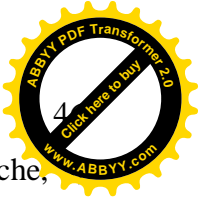
Цымбурский 1999 = Ц ы м б у р с к и й В.Л. «Причина» и «чудо» (лат. *causa* и его индоевропейское родство) // *Индоевропейское языкознание и классическая филология – III: Материалы чтений, посвященных памяти проф. И.М.Тронского*. Спб. 1999.

Щербатской 1988 = Щ е р б а т с к о й Ф.И. Центральная концепция буддизма и значение термина «дхарма» // *Избранные труды по буддизму*. М., 1988.

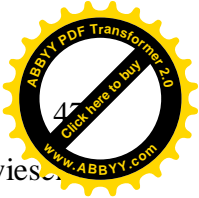
²⁶ Различие еще и в том, что для надписи из Лечче (или Рудже) связь с образом несущего ее предмета не так обязательна. Принцип методологического дуализма здесь может быть проведен гораздо радикальнее, чем в случае фибулы: Санто Перроне вполне был способен перерисовать на продаваемый в музей сосуд буквы с какого-либо мессапского надгробия.



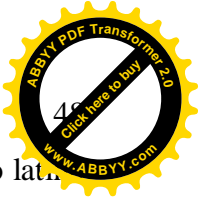
- ЭССЯ 1977 = Этимологический словарь славянских языков. Под ред. О.Н.Трубачева. М., 1977.
- ЭССЯ 1987 = Этимологический словарь славянских языков. Под ред. О.Н. Трубачева. Т.13. М., 1987.
- Agostiniani 1982 = A g o s t i n i a n i L. Le iscrizioni parlanti dell' Italia antica. Firenze 1982.
- Bader 1976 = B a d e r F. Le present du verbe "etre" en indo-europeenne // BSL, 71, 1976.
- Belardi 1980 = B e l a r d i W. Numerius nella latinità delle origini // Accad. Nazionale dei Lincei. Rendiconti. Ser.8, 35, 1980.
- Bernardini 1959 = B e r n a r d i n i M. Un cratere e due iscrizioni vascolari false nella raccolta del Museo di Lecce// Studi Sallentini, 8, 1959.
- Böhtlingk, Roth 1961 = B ö h t l i n g k O., R o t h v o n R. Sanskrit-Wörterbuch. Bd.3. St-Petersbourg, 1861.
- Boisacq 1923 = B o i s a c q E. Dictionnaire etymologique de la langue grecque. Heidelberg-Paris, 1923.
- Bourns 2005 = B o u r n s J. Englisch fogg "aftergrass" //Die Sprache, 45, 2005.
- Brugmann 1889 = B r u g m a n n K. Grundriss der vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen. Bd. 2. Strassburg, 1889.
- Chantraine 1974 = C h a n t r a i n e P. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. T.3. P., 1974
- Colonna 1979 = C o l o n n a G. Duenos// Studi Etruschi, 47, 199.
- Corssen 1863 = C o r s s e n W. Kritische Beiträge zur lateinischen Formenlehre. Leipzig 1863.
- Curtius 1879 = C u r t i u s G. Grundzüge der griechischen Etymologie. 5-te Auf. Leipzig 1879.
- Deecke 1888 = D e e c k e W. Die Falisker. Strassburg, 1888.
- De Simone 1962 = d e S i m o n e C. Die messapische Sprache (seit 1939)// Kratylos,7, 1962.
- De Simone 1963 = d e S i m o n e C. Die messapische Inschriften//Krahe H. Die Sprache der Illyrier. Th.2. Wiesbaden, 1963.
- De Simone 1978 = d e S i m o n e C. Contributi per lo studio della flessione nominale messapica.//Studi Etruschi, 46, 1978.
- De Simone 1987 = d e S i m o n e C. Messapisch no "sum" //KZ, 100, 1987.
- De Simone 1991 = d e S i m o n e C. *Numasie/*Numasio-: le formazioni etrusche e latino-italiche in -sie/-sio-//Studi Etruschi, 56, 1991.
- De Simone 1992 = d e S i m o n e C. Sul genitivo messapico in -ihi//Annali della Scuola normale e superiori in Pisa, 22,1992.
- Dumézil 1987 = D u m é z i l La religion romaine archaïque. P.1987.



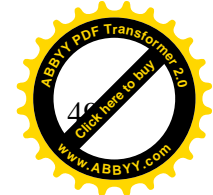
- Durante 1954 = D u r a n t e M. Saggi di ermeneutica messapica//Ricerche linguistiche, 1954.
- Ernout-Meillet 1979 = E r n o u t A., M e i l l e t A. Dictionnaire étymologique de la langue latine.. P., 1979.
- Fick 1872 = F i c k A. Etymologische Beiträge//KZ, 20, 1872.
- Frisk 1971 = F r i s k H j. Griechisches etymologisches Wörterbuch. Bd.2. Heidelberg, 1971.
- Gatti-Colonna 1993 = G a t t i S., C o l o n n a G. Anagni:inscrizioni in dialetto ernico// Studi Etruschi, 58, 1993.
- Giacomelli 1963 = G i a c o m e l l i G. La lingua falisca. Firenze 1963.
- Giacomelli 1978 = G i a c o m e l l i G. Il falisco//Popoli e civiltà dell' Italia antica. Vol.VI. Lingue e dialetti. Roma, 1978.
- Gordon 1975 = G o r d o n A.E. The Inscribed Ribula Praenestina: Problems of Authenticity. Berkeley-Los Angeles-London, 1976.
- Gordon 1982 = G o r d o n A.E. Рецензия на : [Guarducci 1980] // Classical Journal,78, 1982.
- Guarducci 1980 = G u a r d u c c i M. La cosiddetta fibula Praenestina: antiquari, eruditi e falsari nella Roma del Ottocento /Accad. nazionale dei Lincei. Memorie.Ser.8, 24, 4, 1980.
- Guarducci 1984 = G u a r d u c c i M. La cosiddetta fibula Praenestina: elementi nuovi // Accad. nazionale dei Lincei. Memorie. Ser.8, 28,2,1984.
- Guarducci 1987 = G u a r d u c c i M. Una falsa ermetta di marmo rosso antico (Appendice alla storia della "fibula Praenestina")//Accad. nazionale dei Lincei. Rendiconti. Ser.8,42.
- Guarducci 1991 = G u a r d u c c i M. Nuova appendice alla storia della "Fibula Praenestina"/ Accademia nazionale dei Lincei. Rendiconti. Ser. 9,2,1991.
- Gusmani 1976 = G u s m a n i R. Messapisches//IF, 1981, 1976.
- Hamp 1981 = H a m p E.P. Is the Fibula a Fake?// American Journal of Philology, 102, 1981.
- Heubeck 1979 = H e u b e c k A. Schrift // Archaeologia Homerica. Bd.3.Kap.10. Göttingen, 1979.
- Knobloch 1958 = K n o b l o c h J. Zur faliskischen Ceres-Inschrift//Rheinisches Museum 101, 1958.
- Kortlandt 1975 = K o r t l a n d t F.H.H. Slavic accentuation. Lisse, 1975.
- Krahe 1956 = K r a h e H. Die Sprache der Illyrier. Th. I.Wiesbaden, 1956.
- Krause 1952 = K r a u s e W. Westtocharische Grammatik. Bd.I. Heidelberg, 1952.
- Krause, Thomas 1960 = K r a u s e W., T h o m a s W. Tocharisches Elementarbuch. Bd.I. Heidelberg, 1960.
- Kretschmer 1904 = K r e t s c h m e r P. Zum lateinischen Wandel vom ov in av //KZ, 37, 1904.



- Krummrey 1982 = K r u m m r e y H. Ist die Fibula Praenestina als Falschung erwiesen?
//Klio 64, 1982.
- Lejeune 1955 = L e j e u n e M. Les correspondents italiques de lat. *finxit* et de lat. *fecit*//
Corolla linguistica: Festschrift Ferdinand Sommer. Wiesbaden 1955.
- Lejeune 1987 = L e j e u n e M. Рецензия на: [Wachter 1987] //Revue des etudes latines, 85,
1987.
- Liddell-Scott 1940 = L i d d e l l H., S c o t t R. Greek-English Dictionary. Vol.1-2. Oxford,
1940.
- LIV 2001 = Lexicon der indogermanischen Verben unter Leitung von H.Rix. 2-te Aufl.
Wiesbaden, 2001.
- Mancini 2004 = M a n c i n i M. Latina antiquissima I: exercizi sulla fibula
Praenestina//Daidalos,6, 2004.
- Masson 1961 = M a s s o n O. Les inscriptions chypristes syllabiques. P., 1961.
- Milewski 1965 = M i l e w s k i T. The Relations of Messapic within the Indo-European
Family//Symbolae linguisticae in honorem G.Kurilowicz. Wrocław-Warszawa-Krakow. 1965.
- Osthoff 1899 = Osthoff H. Allerhand Zauber etymologisch beleuchtet//BB, 24, 1899.
- Parlangeli 1960 = P a r l a n g e l i O. Studi messapici. Milano 1960.
- Parlangeli, Santoro 1978 = P a r l a n g e l i O., S a n t o r o G. Il messapico //Popoli e civiltà
della Italia antica. Vol.VI. Lingue e dialetti. Roma, 1978.
- Pauly 1891 = P a u l y C. Die Veneter und ihre Sprachdenkmäler. Lpz., 1891.
- Pellegrini, Prosdocimi 1967 = P e l l e g r i n i G.B., P r o s d o c i m i A. La lingua venetica.
Vol.1-2. Padova, 1967.
- Peruzzi 1963 = P e r u z z i E. L'iscrizione di Vendia//Maia, 15, 1963.
- Peruzzi 1964 = P e r u z z i E. Inscrizioni falische//Maia, 16, 1964.
- Pfiffig 1969 = P f i f f i g A.-J. Die etruskische Sprache. Graz 1969
- Pfister 1983 = P f i s t e r R. Zur gefälschten Manios-Inschrift //Glotta, 61, 1983.
- Pisani 1964 = P i s a n i V. De lingue dell'Italia antica oltre il latino. Torino, 1964.
- Pocetti 1979 - P o c e t t i P. Nuovi documenti italici Pisa, 1979.
- Pokorny 1959 = P o k o r n y J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bd.I. Bern-
München, 1959.
- Prosdocimi 1988 = P r o s d o c i m i A. Messapico no "sum"?//Studi Etruschi, 54, 1988
- Prosdocimi 1989 = P r o s d o c i m i A. Sulla flessione nominale messapica. I.//Archivio
glottologico italiano, 74, 1989.
- Prosdocimi 1990 = P r o s d o c i m i A. Sulla flessione nominale messapica. II. // Archivio
glottologico italiano 75, 1990.



- Prodocimi-Marinetti 1994 = *P r o s d o c i m i A., M a r i n e t t i A.* Appunti sul verbo latino (e) italico. La vocale del radoppiamento nel perfetto // *Miscellanea di studi linguistici in onore di W.Belardi.* Roma, 1994.
- Radke 1981 = *R a d k e G.* Archaisches Latein. Darmstadt, 1981.
- Radke 1984 = *R a d k e G.* Zur Echtheit der Inschrift auf Fibula Praenestina // *Archäologisches Korrespondenzblatt*, 14, 1984.
- Rix 1966 = *R i x H.* Die messapischen Wortformen auf -oa, -oas // *IF*, 71, 1966.
- Rix 1995 = *R i x H.* Capua//*Studi Etruschi*, 60, 1995.
- Santoro 1982 = *S a n t o r o G.* Nuovi studi messapici. I. Le epigrafi. Galatina, 1982.
- Santoro 1983 = *S a n t o r o G.* Nuovi studi messapici.II. Il lessico. Galatina 1983.
- Santoro 1984 = *S a n t o r o G.* Nuovi studi messapici. Primo supplemento. Galatina, 1984.
- Santoro 1986 = *S a n t o r o G.* Messapico//*Studi Etruschi*, 52, 1986.
- Santoro 1991 = *S a n t o r o G.* Nuovi studi messapici//*Studi Etruschi*, 56, 1991.
- Schmid 1960 = *S c h m i d W.* Messapisch-baltische Kleinigkeiten // *IF*, 65, 1960.
- Schmoll 1958 = *S c h m o l l U.* Die vorgriechischen Sprachen Siziliens. Wiesbaden, 1958.
- Schrijver 1991 = *S c h r i j v e r P.* The Reflexes of the Proto-Indo-European Laryngeals in Latin. Amsterdam-Atlanta, 1991.
- Schulze-Thulin 1993 = *S c h u l z e - T h u l i n B.* Zur Wortstellung im Etruskischen//*Studi Etruschi*, 58, 1993.
- Schwyzler 1939 = *S c h w y z e r E.* Griechische Grammatik. Bd.I. München, 1939.
- Solmsen 1904 = *S o l m s e n F.* Beiträge zur Geschichte der lateinischen Sprache.4. Der Wandel von ov in av // *KZ*, 37, 1904.
- ThLE 1978 = *T h e s a u r u s* Linguae Etruscae. I. Indice lessicale. Publ. M.Pallottino a cura di M.Pandolfini Angeletti. Roma, 1978.
- ThLL 1906-1912 = *T h e s a u r u s* Linguae Latinae. V.3. Lipsiae, 1906-1912.
- ThLL 1912-1926 = *T h e s a u r u s* Linguae Latinae. V.6, 1. Lipsiae, 1912-1926.
- Thulin 1908 = *T h u l i n C.* Eine altfaliskische Vaseninschrift // *Rheinisches Museum*, 61, 1908.
- Trümpy 1983 = *T r ü m p y C.* La fibula de Preneste: document inestimable ou falsification? // *Museum Helveticum*, 40,2, 1983.
- Vaniček 1874 = *V a n i č e k A.* Etymologisches Wörterbuch der lateinischen Sprache. Leipzig, 1874.
- Van Windekens 1976 = *V a n W i n d e k e n s A.J.* Le Tokharique confronte avec les autres langues indo-europeennes. Vol. La phonétique et vocabulaire. Louvain, 1976.
- Vetter 1925 = *V e t t e r E.* Zur altfaliskischen Gefässinschrift CIE 8079 // *Glotta*, 14, 1925.



Wachter 1987 = W a c h t e r R. Altlateinische Inschriften. Bern u.a. 1987.

Walde-Hofmann 1938 = W a l d e A. Lateinisches etymologisches Wörterbuch. 3-te Aufl.,
bearb. Von J.B. Hofmann. Bd.I. Heidelberg, 1938.

Walde-Pokorny 1930 = W a l d e A. Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen
Sprachen. Hrsg. und bearb. von J.Pokorny. B.I. Berlin-Leipzig, 1930.

Wieacker 1984 = W i e a c k e r F. Die Manios-Inschrift von Praeneste: zu einer
exemplatorischen Kontroverse // Nachrichten der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen.
Phil.-hist. Kl., 1984, N9.

Zamboni 1978 = Z a m b o n i A. Il siculo // Popoli e civiltà dell' Italia antica. Vol.VI. Lingue e
dialetti. Roma, 1978.